

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й
М И Р

2

1993

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 2 (814)

Февраль, 1993 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Д. С. ЛИХАЧЕВ — О русской интеллигенции	3
—————	
СЕМЕН ЛИПКИН — То, что цветет, стихи	10
ВАЛЕРИЙ ПИСКУНОВ — По роду их, повесть	14
ГЕНРИХ САПГИР — Зеленые фуражки, стихотворение	103
ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ — В садах других возможностей, рассказы	105
ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН — День, оставшийся под обрывом, рассказ	127

ПУБЛИЦИСТИКА

Д. ШТУРМАН — Остановимо ли Красное Колесо? Размышление публициста над заключительными Узлами эпопеи А. Солже- нишына	144
--	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

М. В. ЮДИНА — Письма к друзьям. 20—60-е годы. Публикация, вступительная статья и примечания А. М. Кузнецова	172
ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ — Геббельс. Портрет на фоне дневника. Пере- вод фрагментов дневника Й. Геббельса — Л. Сумм	203

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЕКСЕЙ ПУРИН — Набоков и Евтерпа	224
-----------------------------------	-----

(См. на обороте)

Предварительные итоги XX века

ЛЕВ ГУДКОВ, БОРИС ДУБИН — Без напряжения... Заметки о культуре переходного периода	242
РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ	254
SUMMARY	256

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» благодарит АО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”» за материальную и моральную поддержку.

Одновременно «НОВЫЙ МИР» поздравляет АО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”» (президент Юрий Львов) и АО «ГАРАНТ» (Санкт-Петербург, председатель совета директоров Илья Баскин) с успехом акции «ЕВРОПА — АМЕРИКА — 500».

Впервые в истории нашего бизнеса российские предприниматели справились с задачей, которая еще недавно была по плечу только государству.

«ЕВРОПА — АМЕРИКА — 500» — паспорт качества российского предпринимательства.

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР».

ПУБЛИЦИСТИКА

Д. ШТУРМАН

*

ОСТАНОВИМО ЛИ КРАСНОЕ КОЛЕСО?

Размышление публициста над заключительными Узлами эпопеи А. Солженицына

1. ЗАГАДКА ЖАНРА

Скажу сразу, что поспешность, с которой «Красное Колесо» объявляется неудачей, свидетельством творческой деградации Солженицына, опасна не для него: эту книгу еще и не начали по-настоящему читать; начнут — и время определит масштабы и достоинство труда писателя, как бывает всегда. Поспешность опасна для самих слишком категоричных и торопливых критиков: они рискуют оконфузиться немилосердно. Правда, критиков забывают быстрее, чем художников. Искусство — атрибут вечного в человеческом бытии. Критика — атрибут эпохи, оценивающей в себе вечное.

Слишком поспешная и слишком категорическая критика имеет особенно короткую жизнь, но урон порой наносит немалый: она искажает и отдаляет прочтение произведения современниками, способными его прочесть. Ведь если мнение из броской, эмоциональной и самоуверенной статьи или реплики известного критика, публициста, писателя человеком уже почерпнуто — к чему ему читать трудные и далеко не всегда занимательные в обыденном смысле слова тома? Да еще в столь тяжкое и Бог весть куда спешащее время? О том, что эти громоздкие тома помогают понять окружающую сумятицу, во-первых, откуда же заранее знать? А во-вторых, всем ли и помогли бы? Критикам, утверждающим, что Солженицын окончательно «вышел из моды», не помогли же.

Критиков потомки читают редко. Кто, к примеру, кроме специалистов, перечитывает по собственной воле пламенного Белинского? А иных классиков, вживе анатомированных им, после долгого перерыва разве что начинают непредвзято читать. Но как искривило сознание и пути интеллигенции российской и советского образованного слоя блестящее, неотразимо искреннее письмо Белинского Гоголю! Повод к письму, предмет его («Выбранные места из переписки с друзьями») не читался после огненного вердикта «неистового Виссариона» без малого полтора века. Но вот сейчас снова читается. А письмо? Только как печальный урок и характерный феномен истории общественной мысли.

У меня нет сомнения в том, что речь в случае с «Красным Колесом» идет о художественном произведении, а не о публицистическом, историческом или философском труде. Солженицын достаточно точно определил жанр своей работы как повествование, ибо в ней нет оголенных авторских вопросов, размышлений, доказательств и выводов, неизбежных за пределами художественных жанров. «Март...» и «Апрель Семнадцатого» — это живопись в чистом виде. А вот над тем, с помощью какой техники, посредством каких приемов эта живопись выполнена и что возникает в результате их сочетания, придется еще долго многим исследователям и читателям думать. Канонические ответы на подобные вопросы по отношению к уникальным явлениям искусства вырабатываются на протяжении многих десятилетий, и то не всегда, ибо все уникальное и первоявленное не канонично.

Художник в отличие от историка непрерывно заставляет нас не только всматриваться в давно прошедшее, как в заново происходящее, но еще переигрывать в своем воображении события, давно свершившиеся и необратимые. Историк обычно говорит: «Так было — глупее глупого тратить время на домыслы о том, что могло бы быть, случись то, чего не случилось, поступи кто-то так, как он не поступил». Художник

позволяет нам игнорировать эту логику. Он возбуждает нашу способность к выбору и моральной оценке.

У Солженицына нет оголенных рассуждений на тему «что было бы, если бы». Просто в его грандиозной живописи действия и бездействие персонажей, их союзы, конфронтации, возможность и невозможность для них поступить тем или иным образом создают некий воображаемый веер не исключенного — при иначе сделанном выборе — хода событий. Собственно, его, этот веер, создаем мы сами, но, конечно же, по воле художника, из того колоссального событийного и психологического материала, который нам представлен. Это не Солженицын — это мы произносим в сотнях судьбоносных и чаще всего роковых (так нам представляется) точек многомерного, полифонического сюжета свое «что было бы, если бы?..».

Солженицын не проводит никаких оголенных параллелей между 1917 годом и современностью. Но в сознании читателя, к евремени прикованного, эти параллели работают непрерывно. И тоже, конечно же, по замыслу художника, в силу его магии. Роковое преобладание «неподходящего отбора» над «подходящим» (У. Р. Эшби) имеет настолько неотклонимое сходство с вакханалией более поздних «неподходящих отборов», что российская, 1917 года, Февральская революция начинает представляться протомоделью не только нынешнего пост-СССР, но и всего человечества.

Имеет ли смысл производить эту мучительную операцию — задавать тесты на вариативность необратимым событиям? Сложная логика многоголосого, многомерного повествования подводит нас к выводу, что имеет. История все-таки еще не кончилась, и веер более или менее вероятных возможностей продолжает возникать в каждой ее точке. Один из центральных наших выводов из, казалось бы, крайне пессимистического «Красного Колеса» таков: свобода выбора — не фикция. И это тоже, вне всяких сомнений, вывод, организованный художественной реальностью солженицынского повествования. Но осуществить удовлетворительный выбор невероятно трудно, ибо нет универсальных решений «на все времена». Решать (выбирать) приходится в каждом шаге наново, ибо нет явлений, не обладающих элементом неповторимости. И вместе с тем во всем есть нечто универсальное и нечто категоричное. Эти общности позволяют учиться и обретать опыт. Возможность учиться на уроках истории, которые, как известно, идут в пустых классах, делает трагедию все-таки не до конца фатальной. Класс открыт — входи и учись. Если он пуст — это твоя вина и твоя воля. Таков еще один из уроков повествования.

Стереоскопичность эпоса обогащается тем, что мы знаем о многих его героях гораздо больше, чем они сами. Мы видим их повествовательное настоящее сквозь призмы их дальнейших судеб, преимущественно трагических. Это двойное видение возникает произвольно, как будто и не с подачи автора. Оно усиливает эмоциональные эффекты, обосновывает авторские настроения и интонации, контрастирует с интонациями и настроениями героев, документов, газетных отрывков, прогнозов.

Читатель, не знакомый с историческим материалом, которым владеет Солженицын (он скрыт за горизонтом повествования), несомненно, многое теряет. Он не может быть полноценным соучастником общего с писателем творческого постижения реальности, без чего книга не заиграет всеми своими красками. Тезаурус читателя — элемент всякой читаемой нами книги, и в этом смысле книга у каждого читателя — своя, кто бы и когда бы ее ни написал. «Красное Колесо» предполагает читателя хорошо подготовленного, хотя автору, наверное, видится иначе.

В апреле 1992 года в интервью С. Говорухину Солженицын сказал, что пишет просто и считает «Красное Колесо» понятным каждому внимательному читателю. Думаю, что Солженицын несколько идеализирует среднего читателя. Конечно, тот, кто прочел все эти тома без предубеждения, свойственного в основном коллегам Солженицына, несомненно, историей интересуется и уже поэтому понял и взял в них многое. Человек, безразличный к истории, их не осилит. Все из великих книг не берет никто, ибо время их непрерывно дописывает и каждый читатель вносит в них себя. В том, что читатель, удовлетворительно знающий исторический материал, охваченный «Красным Колесом», воспримет «повествование в отмеренных сроках» полнее, чем тот, кому этот материал внове, усомниться трудно. Но тот, кто слышал когда-нибудь запись своего голоса, знает, как разнится его звучание от того, как слышим себя мы сами, вне записи. Так, Солженицын кажется себе простым и общедоступным. Между тем чтение «Красного Колеса» — это преодоление крутого подъема.

Существует еще и такая странность искусства: художник тоже не знает всего о своей книге. И не только в классическом тютчевском смысле: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется».

Дело еще и в том, что в повествовании из десяти томов, где пульсирует такая эпоха, где живут, мыслят, чувствуют, действуют такие массы людей, писатель просто не может предугадать, чем дополнят его эпос поколения читателей и их

времена. Он выходит и выводит своего современника во многие пространства и измерения. А дальше все это будет жить уже без него, вне его поля зрения и сроков жизни.

Солженицын хотел пройти со своими персонажами куда большую часть их путей, чем прошел. Но — перерешил, и мы имеем то, что имеем.

Зная, хотя бы в некотором приближении, и другие — документальные, а не только художественные, источники, мы можем судить о том, насколько надежен и точен в своей объемной и многоголосой живописи Солженицын. При этом, используя великое множество документов, он вполне первичен, ибо свободен от первоисточников в своих подходах и оценках, независимо от степени их, этих подходов и оценок, общепринятости. Момент общепринятости его суждений никогда не играл для Солженицына существенной роли, и это стоило ему немалых осложнений в отношениях с критикой и литературной средой.

Насколько можно судить со стороны, для Солженицына-художника главное — точность, которая для него есть синоним честности в передаче своего видения вещей.

В этом смысле Солженицын — не сочинитель. Возможно, поэтому исторические характеры удаются ему в большинстве своем лучше широко развернутых вымышленных фигур. Чрезвычайно удачны многочисленные новеллистические зарисовки и моментальные снимки, сделанные словно при фотовспышке. Литературные же, даже отчетливо прототипные герои более бледны, менее выразительны, чем исторические, свободно и чрезвычайно зорко интерпретируемые автором персонажи. Чтобы в этом убедиться, достаточно поставить бессмертную отныне Алису, Аликс, Александру Федоровну, с ее любовью, детьми, миссией, мистикой, слабостями, ограниченностью и величием духа, и вырезанную из картона, старательно раскрашенную Ольду Орестовну Андозерскую. Или едва прочерченную, но такую живую жену Столыпина («Август Четырнадцатого») и Ликоню с ее задыхающимися записочками; выразительнейших Коллонтай и Брешко-Брешковскую — и тусклую Алину Воротынцеву. Есть несколько бледных теней и среди персонажей-мужчин. Между тем мгновенные зарисовки и снимки эпизодических характеров блестящи.

Солженицын, по-видимому, изначально чувствовал, что перипетий и характеров та кой эпохи в прежних жанровых рамках не воссоздать. Во всяком случае — с достаточной полнотой и выразительностью. Особенно в годы, когда так потрясают читателя публицистика и мемуаристика, когда репортажи о событиях, сборники документов, исследования новейшей истории воспринимаются живее любого вымысла. Уже и «Архипелаг ГУЛАГ» — совершенно особый жанровый сплав. «Красное Колесо» в этом смысле еще необычной. Для всего повествования характерна глубочайшая и точнейшая документальность, историческая цитатность. При этом цитаты (и событийно-хроникальные, и портретные, и документальные) то разворачиваются в глубинах художественного текста и от его ткани совершенно неотличимы, то выходят на его поверхность в качестве открытых дословных имплантаций со ссылками. Ощущение такое, что цитируются не первоисточники, не документы, а само время, в которое переместился автор. Может быть, наиболее удивительное — мастерство вживления Солженицыным открытых документальных фрагментов в художественное целое. Они естественно превращаются в штрихи авторской графики, в мазки авторской живописи. Они не прерывают, а продолжают автора, углубляя и обостряя читательское восприятие в нужной автору эмоциональной и смысловой гамме. Они усиливают звучание голосов, уточняют рисунок характеров, ненавязчиво множат, выявляют, пополняют оценочные моменты. Их неподдельно «тогдашняя» фразеология выполняет функцию машины времени, доставляющей нас в нужную точку хронологических просторов повествования. В одном полотне, не наделяя его при этом стилевой эклектичностью, сочетаются разные техники, разные изобразительные приемы, разные речевые пласты, теоретически, казалось бы, сосуществовать не способные.

Не занимаясь текстологическим анализом Узлов, упомяну только некоторые особенности их языкового космоса, воссоздающего богатейшую лексическую, интонационную, мировоззренческую полифонию огромной, бурной, противоречивой эпохи. Языку «Красного Колеса» будут посвящены многие исследования. Они потребуют и долгого, более спокойного, чем наше, времени, и большей, чем наша, объективности, и глубокого профессионализма. Сегодня внимание современников успевает захватить то, что лежит на поверхности словотворчества Солженицына. Например, его своеобразные «архаиконезологизмы» и просторечно-диалектные реанимации — оживление забытых слов и речений.

Слово воспринимается по морфологии и звучанию как старинное (архаизм?); на деле же это чистейшей воды неологизм. Иногда такие слова вызывают ощущение некоего дискомфорта и воспринимаются как неудачные. Они, конечно же, не всегда бесспорны. Но нередко, перечитав отрывок несколько раз, начинаешь видеть и

слышать, что слово — точное, что оно на месте, что оно намного ярче привычного. Чувство меры в словотворчестве и оживлении забытых слов нарастает у Солженицына от «Августа...» к «Марту...» и «Апрелю...», в которых счастливые словотворческие находки затмевают редкие вкусовые (впрочем, как на чей вкус) огрехи.

Недавно кто-то из критиков-нечитателей Солженицына писал об отсутствии любых градаций и оттенков смешного в изображении им людей и событий. Между тем разные рода смеха и смешного (от забавного и улыбки по его поводу до саркастических и даже сардонических интонаций) представлены в «Красном Колесе» очень широко.

В «Марте...» и «Апреле...» удивительно мало сатиры. Сатира выпячивает одни черты предмета (не важно, существенные или незначительные, характерные или случайные, или вымышленные) и опускает или приглушает другие. И потом мы веками принимаем карикатуру за портрет. В отличие от сатиры (способа изображения) юмор, ирония, сарказм — это настроения автора, овладевающие, если автор талантлив, читателем. В сатире тоже содержится отношение автора к предмету изображения, но это слишком часто издевка, опасная своей пристрастностью. Впрочем, и пристрастность может обострить зрение.

Портрет Ленина у Солженицына порой саркастичен. Но ни в одном из Узлов этот портрет не сатиричен: даже сатира для такого героя слишком благодушна. Ленин не смешон, а зловещ. По отношению к нему противоестественна была бы и ирония, ибо она предполагает некоторую отстраненность и некоторое ощущение своего превосходства над предметом, с различными оттенками. К парадоксально изворотливому, лицемерному фанатику, приставившему нож к твоему горлу, нельзя относиться иронически, то есть отстраненно. А Ленин в «Марте...» примеряет нож своей убийственной схемы к горлу страны. Он сокрушительно хитер и ловок (маньяки хитры). Отношение Солженицына к Ленину — это живое и страстное неприятие, но одновременно и понимание его гигантской разрушительно-коллапсирующей мощи в балансе мировых сил. До сатиры ли, до иронии ли тут?

Сарказм же — это трагическая, злая усмешка беспощадного Рока. И саркастические интонации при воссоздании фигуры Ленина вполне уместны. Не только сам он — орудие злого Рока, но и в его душе и в его судьбе господство Утопии-Оборотня играет мертвящую роковую роль. Он удачник только разрушения и подавления. Сквозь каждый его роковой успех сардонически усмехается катастрофа. Учтем, что советскую и мировую мифологему Ленина Солженицын разрушал уже тогда, когда диссидентская мысль, за редчайшими исключениями, на нее и не посягала. И делал это сугубо образно, а не декларативно. Но на сегодняшних выставках архивных могильников КГБ и КПСС первооткрывателю, воссоздавшему истинный образ Ленина без их великодушного соизволения, по заслугам не воздано. Как и другим осваивателям того же пути.

Иронии Солженицын далеко не чужд. Но нередко это ирония не столько его, сколько самой Истории. Горькое знание того, что будет завтра, сопровождает и оттеняет настроения и автора и читателя как некая непоправимо-щемящая нота. И наивность, иллюзии, самонадеянность, самоуверенная слепота прогнозов, беспомощность и бездействие зрячих участников и очевидцев событий не могут не привносить в эту щемящую ноту компоненты иронии.

Юмор же, безгневный и сожалеющий, возникает порой в изображении поименованных и безымянных статистов, ставших сослепу, на свою и нашу беду, в некие решающие моменты физическими движителями катастрофы.

В «Марте...» — «Апреле...» нет «главного виноватого» (даже Ленин и Троцкий не вписываются в эту графу). Нет вообще виновности, исключительно локализованной в одном круге, в одном лице. Если в какой-то момент (персонажу или читателю) кажется, что враг человечества или враг народа, нации обнаружен, следующие за этим страницы (иногда — строки) опровергают догадку. Можно сколько угодно манипулировать цитатами для ее подтверждения, но целостное и честное прочтение всего текста ее перечеркивает, стирает начисто.

Зло в разных своих ипостасях с большим трудом различается слабым человеческим взором, особенно взорами современников событий. Его трудно распознаешь и в своей душе. И все-таки Добро и Зло зримо просвечивают сквозь изменчивые лица героев все еще длящейся загадочной исторической пьесы, и развязка ее для втянутого в нее человечества до сих пор не ясна.

Почему в части, посвященной попытке определения жанра «Красного Колеса», я говорю об отношении автора к его героям и даже о столь стержневой проблеме, как проблема вины (к ней мы еще вернемся)?

Потому что ракурсы, интонации портретов и моментальных снимков формируют стиль как атрибут жанра.

Отсутствие однозначной, предрешенной позиции, авторских оценочных деклараций, авторской эссеистики (все эссе в повествовании принадлежат героям, а не автору) —

все это не позволяет воспринимать Узлы как публицистику. Перед нами жанр чисто художественный, в то время как «Архипелаг ГУЛАГ» — исследование столько же художественное, сколько публицистическое (возможно, что больше — второе).

Почему Солженицын, активно работающий писатель, поставил точку после Четвертого Узла (5 мая 1917 года)? Ведь планировалось их двадцать. Отчасти он отвечает на этот вопрос сам: сейчас не читают слишком длинных книг; возраст мешает надеяться на исчерпание всего задуманного; в начале мая 1917 года исход начавшегося в марте катаклизма был предрешен в пользу большевиков. Мне же чудится и еще одна причина: беспощадно нарастающий трагизм повествования стал бы уже в начале 1918 года невыносимым. Ведь Солженицын-повествователь, с одной стороны, вдумчив и осторожен, объективен в показе событий, с другой — начисто лишен безразличия к происходящему. Это безразличие овладевает и нами.

Страстная вовлеченность в события уже в «Марте...» — «Апреле...» создает предельные психологические напряжения. Взять хотя бы убийство Непенина — эту трагедию без катарсиса, не вызвавшую тем не менее ужаса у сограждан. Вот он — сигнал из будущего: уже не посмели заметить. Как можно было бы воссоздать с такой же болью и мощью 1918 год? Например, убийство царя и его семьи? Почти все достойные герои повествования гибнут, и гибнут страшно.

И многие из мнимых победителей (в битвах за Утопию победителей нет) рухнут в бездну, нам видимую, но от их глаз еще сокрытую. Солженицына их мучительная и низкая гибель не утешит. Она не оживит замученных и погибших, не исправит и не возместит ничего из ими содеянного. Исследования об этой череде погибелей написать можно, и они написаны, и еще напишутся. Длеть же далее на таком художественном подъеме многотомную трагедию без просветления вряд ли было возможно. А просветление наступит ли и когда?

Имеет ли смысл подбирать и придумывать название для синтеза жанров, осуществленного в «Красном Колесе»? Солженицын назвал его «повествованьем в отмеренных сроках». Нужно ли определять его иначе? Правда, начиная с «Августа Четырнадцатого» и кончая жизнеописаниями ряда персонажей «Апреля Семнадцатого», отмеренные автором сроки расширяются продолжительными экскурсами в прошлое. В будущее автор как будто бы не заглядывает, событий ссылаясь на их исход не опережает. Но с будущим упорно соотносим высказывания и события мы сами. Как Солженицын от нас этого добивается, как он транслирует нам свое понимание и ощущение будущего, не знаю. Но оно, это будущее, плачет, сардонически кривит губы и оскальчивает клыки из-за спин, речей, надежд и пророчеств персонажей «Красного Колеса» постоянно.

В силу этой трансляции сюжеты повествования разрастаются в обе стороны (в прошлое и в будущее) далеко за пределы сроков, отмеренных заглавиями Узлов.

Может возникнуть и такое соображение: «повествованье» — это все-таки слишком спокойное определение для вздыбленного и взвихренного урагана событий и судеб (особенно — двух последних Узлов). В понятии «художественное исследование» второе слово слишком «подсушивает» смысл целого и заслоняет первичность художественного начала в картине. «Архипелагу» это соответствовало, «Красному Колесу» — нет. Для того синтеза, сплава техник, приемов, способов использования разнородных источников, который совершен Солженицыным в «Красном Колесе», нет еще, мне кажется, достаточно емкого и лаконичного названия. Пусть остается «повествованье», ибо такова воля писателя. Со временем литературоведы уточнят определение жанра. Может быть, это произойдет тогда, когда Солженицын окажется в своей новизне не так одинок, когда появятся у него продолжатели сопоставимой мощи. И еще одно: жанр повествования, при всей (поверхностной) несопоставимости приемов, близок к летописи — она тоже включает в себя разнородные компоненты. И гоже более других жанров исключает пристрастие (хотя и сквозь беспристрастную летопись сквозит отношение летописца к материалу).

Часто говорят: у Солженицына нет не только последователей, школы — у него нет даже эпигонов. И тем пытаются доказать, что он не начинает, а завершает некое направление в литературе, имея чаще всего в виду критический реализм.

Но отсутствие направления, школы (если их действительно нет) бывает и мерой своеобразия художника, его масштаба, мерой опережения им современников.

2. КАК ЭТО БЫЛО

У каждого читателя свои критерии определения ценности книги. У меня желание и потребность перечитывать ее. «Архипелаг» я прочитала за двадцать (примерно) лет четыре раза. Столько же — «Иосифа и его братьев» Т. Манна, и, надеюсь, впереди новые встречи. Не потому, что я забываю и н ф о р м а ц и ю о ГУЛАГе: фактов накопилось сверх «Архипелага» с избытком. И я помню фактаж «Архипелага» много

лучше, чем, например, событийную канву мемуаров Эренбурга или Симонова. Но попробуй-ка их перечти: кроме душевной несовместимости, скука смертная. Да только ли их? Множество даже любимых когда-то книг пытаться перечитать сегодня — все равно что жевать и глотать бумагу, на которой они напечатаны. Перечитываются же без насилия над собой только те книги, которые либо остаются родными, либо раскрываются перед тобой по мере того, как ты до них дорастаешь.

В «Марте...» — «Апреле Семнадцатого», как и в «Архипелаге», почти из каждой новеллы, подчас лаконичной, как японская танка, из каждого исторического сюжета и портрета, иногда — из газетного отрывка или из безликости канцелярского документа есть выходы в бесконечность вечных вопросов. Как в полотне Левитана, даже малом, пейзаж всегда сохраняет выход в безграничное пространство, так и здесь ни один сюжет не исчерпывает и не закрывает себя «окончательным решением».

Порой нам кажется: в только что дочитанной нами новелле или главе одного из сквозных сюжетов автором вынесен вердикт окончательный. Но другая новелла или глава разворачивает проблему другой гранью, другим измерением, и мы видим, что вопрос остался вопросом, противоречие — противоречием. Разумеется, четко определенную психологическую, мировоззренческую, нравственную установку автора мы ощущаем и воспринимаем. (Я — чаще единодушно с ним, иногда — выжидающе, изредка — в оппозиции к его подходу, к его интонации.) Но потом с удивлением обнаруживаем, что не только мы полемизируем с Солженицыным, но и он полемизирует с самим собой и своими героями. (А иной раз оказывается, что интонация была адекватной происходящему, а твое ощущение — ошибочным.)

Одна из таких неисчерпаемых антиномических безграничностей — Революция, центральный проблемный стержень повествования.

Очень долго для большинства российского и уж тем более — советского образованного слоя (как ныне — западного) это слово имело сугубо положительную эмоционально-оценочную окраску. Это относится, в первую очередь, к революции Октябрьской. До перехода «гласности» в свободу печати посягать открыто на ее ореол было в СССР немыслимо.

«Я все равно умру на той — на той единственной, гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной...» Сколько лет дорогой нашим сердцам Булат Окуджава заканчивал свои концерты и пластинки этой песней?

Постепенно, в глазах постсоциалистических либералов и демократов, нимб вокруг Октябрьской революции потускнел и угас, зато засветился вокруг Февральской. Первую — прокляли, вторую — канонизировали. Солженицын не принял этой канонизации, чем глубоко возмутил представителей леволиберальных кругов. Но его не пугают ни «левые», ни «правые» отлучения и анафематствования.

В значительной степени все, что написано Солженицыным, есть осмысление и преодоление двухвековой сакрализации понятия «революция», его развенчания, отнюдь не привязанного исключительно к большевистскому Октябрю.

Солженицын низводит революцию с уровня акта общественного спасения на уровень национальной катастрофы и в статье о Французской революции 1789—1794 годов, и в «Марте...» — «Апреле Семнадцатого». Он делает это гораздо радикальнее, чем авторы «Вех», чье влияние так велико в «Образованщине». «Вехи» были осмыслительным откликом на революцию 1905 года. Поле обзора Солженицына намного шире. Пять из семи статей «Вех», исключая работы П. Струве и С. Франка, режут глаз то свидетельствами пиетета перед идеалами и конечными целями социализма, то апологией «великой французской» и кромвелевской английской революций. Авторы «Вех», эпатуруя образованный слой, развенчивают беспочвенный нигилизм, радикализм русской интеллигенции. Но к правительственной реакции на революционерский терроризм и на разинщину 1905—1906 годов «веховцы» полны глубокого отвращения, как и вся интеллигенция. Для Столыпина они, его современники, не нашли ни слова поддержки и понимания. Только Солженицын исторически реабилитировал Столыпина и воздал ему должное. Пожалуй, ни одна русская книга XX века не сокрушила такого числа догм, предрассудков, стереотипов и мифологем с такой некрикливой основательностью и наглядностью, как четыре Узла «Красного Колеса».

В публицистике Солженицыным неоднократно высказана и аргументирована мысль, что октябрьские события 1917 года — только точка, поставленная в конце катастрофической эпохи. По его убеждению, победой разрушительного духа эпохи над ее созидательными возможностями были события марта — апреля, а не октября — ноября 1917 года. В октябре завершился большевистским переворотом распад нормального, хотя и отнюдь не идиллического российского общежития, подорванного февральским взрывом, и к власти пришла новая сила. Началась новая эпоха, о парадоксах которой мы здесь говорить не будем, ибо о них Солженицын в «Красном Колесе» не говорит.

Но и Февраль не был, по Солженицыну, спонтанно-непредсказуемой катастрофой, как и 1905 год, когда разрушение удалось приостановить. Одно время казалось, что не приостановить, а остановить, но ряд идеологических установок разных слоев общества, несколько внутренних сдвигов и, главное, война вернули Россию на путь саморазрушения.

Видение красного колеса грядущей революции (е го революции) впервые возникает в глазах Ульянова-Ленина в начале войны. Война наполняет Ленина торжествующим предвкушением революционного урагана. Колесо только трогается. В апреле 1917 года Ленин приезжает в гудящую ульем, теряющую привычные ориентиры Россию. Он еще только примеривается к настоящей атаке, то надеясь, то ярясь от потери надежды разогнать колесо до нужного ему, Ленину, темпа. Мы знаем, что ему это удалось. Но Ленин этого еще не знает. Не ведает он и того, что, как ни прочны будут обручи диктатуры, которые большевики набьют на вздыбленный их волей хаос, как ни беспощадно будут они гнать «вперед», как ни изошряться в умении принуждать, заставляя народ строить, строить и только строить, — именно строить они ни себя, ни народ не научат. Под корой бесчеловечного принуждения будет ускоряться и нарастать все тот же распад, распад и только распад, все более глубокий и явный, на громадных пространствах. Ленин ничего этого не понимает и не успеет понять. Смерть избавит его от многого из того, что успеют увидеть и претерпеть его «гвардейцы». Солженицын же, глядя на вот-вот готовый тронуться локомотив, уже видит и весь последующий разрушительный путь гигантского колеса. Он уже знает (и мы тоже знаем), что прежде всего революция, еще не ленинская, а Февральская, начнет разрушать и подавлять.

Что и кого?

Разрушать — право; подавлять — личность. Несмотря на то, что она декларирует торжество свободы и справедливости, она уже в первых своих шагах посягнет и на первую и на вторую.

Солженицын не раз в своей публицистике, включая «Как нам обустроить Россию», говорил, что нравственный Закон, Справедливость выше формального права. И не раз читателю приходилось чувствовать противоречивость, глубокую антиномичность этого утверждения, хотя несовершенство юридического права в сравнении с нравственной максимой справедливости бесспорно.

Как ни в одной другой своей книге, как никто другой из русских писателей XX века, Солженицын показывает на примере марта — апреля 1917 года, что пренебрежение законом, правом немедленно оборачивается посягательством преступивших на свободу личности. Только право с его несовершенными инструментами и институциями может быть (не абсолютным, но мало-мальски удовлетворительным) гарантом защищенности человека и гражданина от произвола и зверства социально опасного индивидуума, толпы и власти. То, что революция в первые хмельные свои дни и недели именует свободой, есть синоним произвола толпы над личностью. Мы знаем, что эту революцию сменит и усмирит не авторитарность, которую обстоятельства заставили бы стать реформаторской, а доселе невиданный произвол власти. И его принесет еще одна революция, согласно ее мифологии — освобождение более истинное, более радикальное, чем февральское. Большевики с их глубочайшим пренебрежением к личности, ее правам и ее жизни в повествовании Солженицына уже присутствуют. И нарастание их возможностей отчетливо ощущается: крушение права предуготовляет победу играющего без правил.

Мы в ужасе наблюдаем: более или менее нормальные до Февраля люди «вдруг» (для внимательного наблюдателя, каков Солженицын, — с 60-х годов прошлого века, а не «вдруг», но для обывателя — вдруг) начинают то на одном, то на другом пяточке, участке, пространстве своего недавно еще сносно сбалансированного общежития не то сходить с ума, не то повально криминализироваться.

Образованный слой еще на все лады упивается бескровностью вымечтанной свободы. Одна социальная страта общества за другой (от великокняжеской и высшей духовной до уголовного мира) включается в славословие великой и мирной (главное — мирной!) демократической революции. И при этом у людей — сразу же! — как-то странно начинает слабеть зрение. Они стыдливо зажимают глаза на все более явное озверение сограждан. Например, они словно бы и не видят нечеловеческого, бездумного, почти автоматического растерзания матросами адмирала Непенина, искренне и сразу принявшего революцию. Не видят множущихся бандитских убийств ошалевшими солдатами ничему еще не сопротивляющихся офицеров. Не замечают издевательств уличной пьяни и рвани над «чистой публикой». Не вмешиваются в расправы обезумевшей толпы над столбенеющими от ужаса городскими. Дворянство силится до последней возможности не видеть (недавно таких благодушных) крестьянских толп, осаждающих с дрекольем и вилами усадьбы вчера еще уважаемых и даже любимых («своих») помещиков.

Выразительное отсутствие идеализации какого бы ни было слоя общества, в том числе и народных масс, возложение и на них главного атрибута человеческого достоинства, а именно ответственности за свои действия — очень важный элемент повествования. Разве что сквозь «Окаянные дни» Бунина и воспоминания Романа Гуля проступали эпические масштабы этой народной обезумелости. Но там не звучала над теряющими рассудок толпами протivoестественная симфония эйфории. А здесь — звучит. И что матросская, что солдатская, что городская толпа не так уж и разъярена, не всегда даже и раздражена. Находятся возбужденные (а истерика всегда заразительна) горлопаны-подстрекатели, то пришлые, то из своих же, подсказывают дорогу и образ действия, и толпа отправляется творить суд и расправу. А потом — то ли насыщается, то ли устает и, пограбив, погромив, убив, растерзав (а порой и успокоясь от встречного отпора), распадается снова на отдельных людей, ошеломленных содеянным и отупевших от своего же бунта.

Между тем, словно не видя происходящего, люди, мечтавшие, писавшие и болтавшие о революции, никак не хотят приходить в себя. Они упрямо оберегают свой миф: привычную апологию народа — страдальца и кроткого мудреца. Люди силятся не замечать пропастей, уже разверзающихся по обочинам их привычной будничной тропки. Но им все труднее становится это делать. Причем не где-нибудь в 1918 — 1919 годах, а в марте — апреле — начале мая 1917-го.

Все происходит как-то словно бы само собой — не только во взбудораженных толпах, но и на самых верхах. У Думы, упрямо подтачивавшей слабеющую монархию, власти не оказалось: когда привычное течение жизни в столицах нарушилось, Дума не сумела падающую власть подхватить. Монархия своей власти не защищала. Новое (Временное), совершенно случайное, само себя назначившее, правительство не владело ситуацией ни минуты. Советы добольшевистской формации (эсеро-меньшевистские со вкраплениями большевиков, других радикалов и случайных лиц) имели как будто бы наибольшую власть над массами. Но при ближайшем рассмотрении (а Солженицын рассматривает события и в телескоп, и под микроскопом) оказывается, что Совет не властвовал, а провоцировал, не занимался государственным строительством, а разрушал; он не давал Временному правительству мало-мальски стабилизировать положение, раскачивал и без того утлую лодку — и только. Разогнанную социалистическим Советом до девятого вала волну оседлали не те, кто ее первоначально провоцировал, а вовремя подоспевшие большевики. И все это совершали люди. И каждый в отдельности, и группами, и скопом. Совсем как во сне Раскольникова:

«... Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе... В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге... Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и все погибало. Язва росла и подвигалась дальше...»

Временное правительство пренебрегало правом и законом неизмеримо больше, чем монархия. Советы добольшевистского призыва игнорировали юридическую логику и право куда бесцеремонней, чем «временные». Рушились и разбивались в прах все ограничения, все скрепы, все, как привычно было выражаться, оковы. И что же?

Вывод напрашивается один: свобода убивала свободу. Большая безбрежная свобода все смелей и бесцеремонней переступала через свободу «малую» — свободу личности, включая и свободу человека существовать, быть.

Следом за этим парадоксом, внутри него, в жизнь вползает тревожное и многозначительное ощущение неблагополучия, образованным слоем России уже почти забытого. Свобода самовыражения, во втором десятилетии века очень широкая (а с марта семнадцатого года — безбрежная), несмотря на митинговый галдеж, начинает сужаться. Причем явно и быстро. Мы с удивлением замечаем, что эйфория, поначалу у образованных такая искренняя, постепенно становится как бы чуть-чуть (а вскоре — и не чуть-чуть) вынужденной. Не при всех все можно говорить: зажиточные интеллигентные либералы замолкают при прислуге, при всяких (поди разбери их) «уполномоченных», при солдатне. Делают они это вроде бы по собственной инициативе. Однако их поведение в некоторых ситуациях принимает оттенок неприятной чем-то или кем-то навязанности, незнакомой (ведь на самом деле они были и до Февраля свободны) зависимости — от кого? Им еще не ясно. И (еще один парадокс) не только эйфорические либералы испытывают этот ограничительный дискомфорт. Казалось бы, Исполком и Совдеп — люди на что уж взаимно свои? Исполкомовцы

по идее — выразители воли депутатов Совета. Но почему-то не очень хочется выразителям свои соображения непосредственно выражать на бестолковом простонародном сходе. Они все чаще ищут возможности столкноваться в своем кругу, а перед простолюдинами, перед бурлящим шинельным морем идти по готовому сценарию.

Да и заведомо другого лагеря люди, вроде бы и вполне зрячие, скептические и определенно, изначально не сочувствующие происходящему, у нас на глазах утрачивают свою прямооту, свою несомненную в дореволюционные времена свободу поведения и твердость. Алексеев, Колчак, Корнилов — такие орлы! И другие, несколько не трусливей их, — все словно бы до поры до времени выжидают (а ведь потом станет так ясно: непростительно было медлить), помалкивают, принимают правила чужой игры.

Чья же это, позволительно спросить, игра?

Игроков, играющих без всяких правил.

Упомянутые и не упомянутые нами генералы еще недавно с достоинством смотрели в глаза царю. Они не кланялись пулям и никогда до этого не унижали себя ложью. Откуда же эта их февральская заторможенность, эта оглядка на солдат, превратившихся в толпу, на демагогов, бог весть на кого? Откуда лояльность по отношению к силам, которым они не присягали? Только из одного того, что от них отреклась сила, которой они присягали, — царь? Но ведь присяга давалась не лицу, а — кому или чему? Народу? Родине? Государству? Принципу? На какой-то миг их «лояльность» сработала на разрушительные начала, и этого мига оказалось достаточно.

Одних эта парализующая волю оглядка заставляет оберегать от угасания свою эйфорию, искать для нее подпитки и оправдания, смотреть мимо фактов; других — скрывать посредством самоцензуры свои истинные реакции; третьих (уже!) — лгать. И все это для них ново и странно, а для автора и для нас — это вести из жуткого будущего. В их будущем (а нашем недавнем прошлом ли?) ложь, которая в «Марте...» — «Апреле...» ощущается слабым ветёрком, станет воздухом, которым дышат все и каждый, от рождения до смерти.

Почему Солженицын в нескольких интервью сказал, что в начале мая 1917 года было уже ясно, кто выиграет бой? Сперва мне представлялось, что он ошибается: ведь существовали еще армия и офицерство; впереди еще было июльское поражение большевиков, корниловское движение, которое могло бы спасти Россию, если бы...; гражданская война; попытка «интервенции» наконец. Но, дочитав «Апрель...» и окинув взглядом срез истории, на котором Солженицын обрывает повествование, я поняла: исследуя час за часом происходящее и подойдя к маю, он увидел, что все эти возможности своевременного абортирования большевизма наперед упущены. И он понял, как и почему они были упущены (и мы, читатели, вслед за ним это поняли). Солженицын — художник особого склада: воссоздавая, он постигает. Когда ему уже нечего постигать, когда ключ — в руках и читателю фактически вручен, ему становится скучно работать. Вероятно, в работе над «Апрелем Семнадцатого» Солженицын ощутил с окончательной ясностью, что хаос, развившийся к этому времени (а хаос рос вглубь и вширь), сможет обуздать уже только самый страшный из претендентов на власть. Теоретически он это, конечно же, знал и раньше. Но теперь он ощутил это в самом жизненном материале. Время уходит. Ни одна из мало-мальски порядочных общественных сил не обретает воли к сопротивлению. Мораль и здоровый социальный инстинкт самосохранения не решаются посягнуть на фетиш (мираж!) народной свободы. Поскольку свобода отождествлена со вседозволенностью, то выигрывают худшие. Хаос оседлает и подменит своим всевластием тот, кто не знает самоограничений и сомнений помимо чисто тактических, кто способен игнорировать право, истину и милосердие абсолютно. И при этом имеет безотказную систему демагогических лозунгов, не только в высшей степени соблазнительных для масс, но не утративших еще обаяния и для интеллигенции. Таковыми были только большевики. «Правая» часть политического спектра («правее» меньшевиков) поздно спохватится; «левая» (кроме большевиков) «выпадет в осадок», ибо не обретет такой концентрации воли, такого сочетания абсолютного аморализма и оперативнейшей демагогии. Не случайно же к ним потенциально тяготеют среди персонажей Узлов такие разные, но в чем-то совпадающие (цель оправдывает все средства) характеры, как Троцкий и прапорщик Чернега (этот, правда, еще колеблется). И не очень комфортно с большевиками простодушному Шляпникову, у которого впереди своя трагедия. Он наивен и честен, а потому и станет в 1920 году вождем обреченной «рабочей оппозиции».

Одно преимущество большевиков носило более или менее субъективный характер: среди них, и только среди них, во главе только их движения оказался Ленин, гениальный тактик, игрок, готовый и умеющий абсолютно вне морали и правил вести свою партию. Его не очень надолго хватит, и он не умеет смотреть далеко вперед,

но свою гибельную для России миссию он выполнит. Март — апрель — пролог его звездного часа.

Солженицын воспроизводит еще один удивительный исторический парадокс. Противники Ленина (в «Марте...» — «Апреле...» еще не успевшие с ним всерьез схватиться) упорно не принимают его всерьез. Они не видят «сокрушительно-захватной мудрости» (Солженицын) Ленина. Так позднее первобольшевики ленинского круга не примут поначалу всерьез «серого» Сталина. Зачатки этой ошибки, стоившей ленинским «гвардейцам» жизни, а Системе — победы, Солженицыным несколькими штрихами намечены. Но вернемся к Ленину. Его явлением и разительными успехами в провокации хаоса, в привлечении к себе народной и армейской стихии никто весной 1917 года по-настоящему не испуган. «Правые» и «левые»-не-марксисты Маркса не знают; военные — тем более не знают; о массах нечего в этом смысле говорить и по сей день. Марксистские теоретики кафедрального толка («Kathedern-Marxisten») и сегодня, за редкими исключениями, доказывают, а точнее — бездоказательно утверждают, что ленинизм (большевизм) к марксизму никакого отношения не имеет. Между тем марксизм изначально вооружен тактикой провокации к разрушению, искусством раскачивания, возбуждения, опьянения масс. Повышенная возбудимость создана в российских массах начала 1917 года многими злободневными обстоятельствами, растущими в значительной мере из обстоятельств исторических. (Солженицын не случайно в изображении истоков этой возбужденности, этой повышенной реактивности уходит в Первом Узле к молодости Николая II, к 1905 году, к Столыпину.) Но именно большевики — Ленин, всерьез освоивший Марксово искусство провокации и в нем гениальный удачник, нагнетает возбуждение масс до такой степени, что оно превращается для него в рычаг победы.

Очень долго в отношении к Ленину одни — презрительны и даже брезгливы, что с горькой иронией воспроизводится Солженицыным. Так воспринимают Ульянова думские «прогрессисты» из числа кадетской элиты, «октябристы», националисты из образованных. Оппоненты из когда-то своих, как, например, Плеханов, тоже не слишком принимают всерьез ленинский лозунгово-газетно-митинговый «бред» (Плеханов), лишь время от времени давая ему ироничный, на элитарном языке, отпор. И уж тем более никто по-настоящему не занят противопоставлением ленинскому весьма целенаправленному «бреду» ярких, доступных материалов, способных впечатлить массы, успокоить их, быть у них на слуху. Правда очень редко нисходит до самозащиты. Кроме того, народ — он же вместителище всех премудростей и добродетелей, он «брёда» не примет, он его сам отторгнет. Да и не интересней ли образованным людям говорить и писать для своих, на своем уровне, привычным для себя языком? Многие к тому же полагают, что Ленин просто закомплексован, не уверен в себе, не может избавиться от рефлексов борьбы, не успел расслабиться, не ощутил еще победного спокойствия свободы. Выкричится, отшумит и придет в себя. И тогда он несомненно примкнет к демократии. Не может не примкнуть: он же революционер, а революционер — это такой же фетиш, как «народ»: он плохим быть не может (Милюков, по Солженицыну: «Ленинцы — дети». Бедный, бедный. Впрочем, в годы второй мировой войны он увидит русского патриота в Сталине). И даже те немногие, кого всерьез начинает тревожить влияние Ленина на массы, кого настораживает тяготение к нему дезертирско-люмпенско-уголовной стихии и крайних политических радикалов, — даже они согласны с демократией, что не силу же к нему применять! Не позорить же революцию и демократию расправой над политическим оппонентом!

До чего узнаваемо все это в сегодняшнем мире, не так ли?

Это — лишь сухие выжимки из многоголосой, многооттеночной солженицынской стереопанорамы с бесчисленностью возникающих в ней вопросов.

Поражает, к примеру, такая закономерность: тактически оказывается удачливей всех прочих политиков тот, кто стратегически наиболее безнадежен, то есть в конечных целях своих вполне утопичен. Потрясает тактическая удачливость, политическая вооруженность сил, в созидательном смысле безнадежных. Этой безотказной удачливости Зла сопутствует невменяемое разгильдяйство сил, в мировоззренческом плане куда более разумных. Зная сегодняшнюю мировую ситуацию, мы с особой отчетливостью ощущаем, что и для Солженицына это парадокс исторический, мировой, а не частный и не только российский.

Политика, по-видимому, особо сложная сфера деятельности именно потому, что в ней взаимоотношения нравственности и эффективности чрезвычайно запутаны и полны уходящих в мистические глубины противоречий. Для Солженицына это вопрос всегда стержневой. Непротивление Злу насилием (сколько бы он его ни декларировал в публицистике) Солженицыну-художнику, историческому мыслителю и человеку на Земле, среди современников, — психологически чуждо. Ему, независимо от того, как сам он свои взгляды воспринимает и декларирует, необходимо если

не абсолютное Добро, то хотя бы наименьшее Зло уже здесь, на Земле. Он не может без боя уступить Злу не только поле человеческого сознания — поле духовное, но и твердь земную, жизнь повседневную. Иначе он не исследовал бы исторические, земные пути человека и общества с таким упорством всю свою жизнь.

В двух последних Узлах противоречие между абсолютном ненасилия и защитой земного бытия проступают с особым трагизмом. Именно в марте—апреле 1917-го переплетения российской истории и российской современности затягивались в гордые узлы наших дней.

Итак, игроки без правил оказались сильнее играющих по правилам; темпераментные радикалы — оперативней рефлектирующих мыслителей — короче, люди условно «плохие» на короткой дистанции обошли людей условно «хороших». Беда еще и в том, что дистанция, исторически короткая, в масштабах человеческой и даже национальной, государственной жизни может оказаться роковым образом долгой. Для одного человека, для нескольких поколений — даже и вечной, ибо переживает их.

В «Красном Колесе» эта проблематика пронизана и пропитана другой, родственной: когда, как и в какой мере надо, дозволено (в высшем смысле последнего слова) применять против разрушительных сил — силу? Если, конечно, заведомо не согласиться на исключительно потустороннее разрешение всех печалей. Когда наступает тот последний момент, после которого сопротивление становится бесполезным,* и как не дать обстоятельствам этот момент приблизить?

Когда и по каким признакам становится ясно, что в данных условиях ненасилие чревато неизмеримо большим насилием, чем своевременный удар?

Всегда ли такой удар должен быть ответным, или может (обязан) быть предупредительным?

Когда компромисс возможен и даже необходим и когда он недопустим и немислим?

Все эти и многие другие, общие и конкретные вопросы возникают в повествовании Солженицына в одной коллизии за другой. Они поворачиваются к нам, по воле автора, множеством граней. На наших глазах забушевал уличный Петроград, поддержанный частью войск. Тут же начали возникать эйфорический Временный комитет и параллельно — по минутам наглежащий Совет с Исполкомом. Должен ли был тогда царь, навсегда травмированный ужасом «кровавого воскресенья» (сколько кровавых лет впереди!), стать во главе еще вполне реальной военной акции и подавить волнения? Он предпочел до последней возможности игнорировать известия из Петрограда; затем санкционировать вялый и нелепый «поход» нерешительного старца Иванова на Петроград; потом — выжидать, не призывая войск, и, наконец, по первому требованию неизвестно чьих представителей изменить своей миссии, монархическому долгу, отречься за себя и за сына, безропотно уйти в повиновение и мученичество. В конечном итоге, ненанесением сразу весьма ограниченного удара царь обрек себя, семью и династию на страшную смерть, а Россию — сегодня еще не до конца известно — на какую кровь. И не только Россию.

Разве не было в мировой да и в российской истории моментов, когда решительный шаг лица, располагающего высшими полномочиями, предотвращал, казалось бы, неминуемое?

Если большая или меньшая кровь должны все-таки сопоставляться и влиять на выбор, то царь и армия могли в критической точке преградить путь разному, как Франко и армия сделали это в Испании (пример не единственный). То же и Михаил (и армия), и Николай Николаевич (и армия), и все монархическое офицерство (и армия).

Солженицын прощупывает все эти возможности, и, как он ни сдержан, как ни отказывается от навязывания читателю предрешенных мнений, как ни избегает категорических суждений, его сочувствие (несостоявшимся) решительным действиям несомненно. Тем более, что влияние на многолетний ход и исход событий глубокого консерватизма царя, личного и политического, его сопротивление даже скромным и необходимым новшествам, его отступления от этого принципа лишь под давлением, показанные в предыдущих Узлах, усугубляли его ответственность за страну и династию, за монархический принцип. Его испугала кровь сограждан? Роковой вопрос, от которого Солженицын не уходит: всегда ли надо ее пугаться? А если за ней стоит кровь куда большая? Не просил ли еще Столыпин Думу отличать кровь на руках врача от крови на руках палача? Не поняли.

Белое движение возникает только против большевиков, с опозданием уже роковым. Как уже было сказано, слишком упорно офицеры, даже высшие, проявляли патриотизм и гражданственность посредством лояльности правительству, которое не имело власти.

Многие офицеры не противятся роковому ходу событий, полагая, что нижние чины достаточно пострадали: можно ли противодействовать обретению ими всей полноты гражданских прав и человеческого достоинства? Слишком поздно (и во всем мире по сей день немногим) станет ясно, что достоинство обретается не в поблажках, не в незаслуженных преимуществах. Оно обретается (если обретается) в ходе долгой и трудной правовой, духовной и созидательной эмансипации. Оно возвращается к ранее дискриминированным слоям только в стабильных обстоятельствах, постепенно, в рамках искуснейшего законотворчества и воспитания, дающего возможность роста. Растворяющиеся, незаслуженные преимущества без роста равно губительны и для дающего, и для берущего. Об этом тоже точно и тщательно говорил Столыпин в своих бессмертных думских речах — говорил в пустоту.

Вопрос об участии России в войне 1914 года и о выходе или невыходе из нее в марте — апреле 1917 года поставлен Солженицыным соответственно сложнейшей исторической, политической и психологической конкретике времени. У Солженицына есть убеждение, общее с давним предвидением Столыпина (Воротынцев и другие близкие Солженицыну персонажи повествования приходят к тому же), что эта война была не нужна России изначально. Начатая с пафосом и подъемом, несколько аффектированным, она постепенно перестала быть для солдат да и для большей части фронтовых офицеров осмысленной, кровно необходимой, какими обычно становятся войны против оккупантов (иногда — после большой раскачки). Война затянулась, одновременно теряя популярность в народе, а в тылу и в армии творилось уже нечто грозное.

Вместе с тем кончать войну поражением, развалом армии, капитуляцией на невыгодных условиях, отпадением от взятых на себя ранее обязательств, нелепым «братаньем» с противником (на фоне уже наметившейся победы стран Антанты), идти на поводу у провокационной демагогии крайне «левых» никому из порядочных людей не хотелось. И Солженицын сочувствует этому нежеланию больше, чем унижительной односторонней сдаче под давлением «циммервальдцев», разваливающих армию сознательно и окончательно. Оттенки и контрасты его отношения к этой проблеме ни в одном случае не несут в себе чистого пацифизма.

Мы коснулись лишь нескольких линий двух последних Узлов «Красного Колеса», причем коснулись поверхностно. Такой, к примеру, монографической темы, как портреты исторических лиц, зарисовки эпизодических и образы литературных персонажей, которая уложилась бы только в большую книгу, я почти не затрагиваю. В «Марте...» — «Апреле...» восемьсот сорок две главы. Эти главы являют собой колоссальное разнообразие форм: от новелл-«крохоток» (давнего солженицынского жанра) до целостных сюжетов и сквозных персонажных линий. Когда-нибудь подсчитают число проходящих перед нами людей — и в этих Узлах, и во всем повествовании, и во включенных в него документах. И мы потрясемся наново как зримости, слышимости, осязаемости этого оживленного автором сонмища лиц и судеб, так и считанным, единичным неудачам среди, как уже было сказано, персонажей литературных. Сейчас мы коснулись очень немногочисленного. Но заключая этот раздел, хочу подчеркнуть еще раз: в последних Узлах очень мало таких эпизодов, зарисовок, мимолетных высказываний, которые не вели бы в глубины вечных вопросов и постоянно возникающих проблем жизни, истории, человеческой и общественной психологии — всего того, через что мы уже прошли, проходим и что нас еще может ждать. Коснувшись лишь двух-трех моментов этой многомерной, многообъемной полифонии, перейдем к одному из ее проблемных стержней.

3. КТО ВИНОВАТ И ЧТО ВИНОВАТО?

Итак, вернемся к этой, нами уже затронутой, очень болезненной для России и россиян теме.

«Левый» и «правый» (по внутрироссийскому определению) края советского (все еще) общества (и русскоговорящей диаспоры в Израиле тоже) продолжают питать уверенность, что в «Красном Колесе» имеется однозначный ответ на первый вопрос. По мнению «левых», обскурант и шовинист Солженицын считает, что «виноваты» революционная и прогрессистская интеллигенция и евреи. По мнению «правых», Солженицын (патриот и почвенник) доказал, что виноваты инородцы, а по-простому — жида, и та же интеллигенция (по-простому — поджидки).

Если бы либеральные критики и черно-коричневые их антагонисты («красные» к автору «Архипелага» не апеллируют: они родовой памятью помнят, что он — враг) наконец Солженицына прочитали («левые», в большинстве своем, могли бы это осилить, «наши» — вряд ли), то и первые и вторые горько разочаровались бы. И все

повествование, и особенно выразительно — заключающие его два Узла снимают первый вопрос. Относительно инородцев, чаще всего евреев, показано и сказано, даже и в декларативной форме, что «не инородцы ведут революцию, а революция пользуется инородцами» (Узел IV). И оттого, что эти слова звучат во внутреннем монологе Троцкого, их доказанность всей живописью Узлов не слабеет. Можно было бы посвятить этой теме больше места в наших читательских размышлениях, некоторые трактовки образов и ситуаций оспорив. Но тогда оказалось бы, что мы придаем инородческой теме больше значения, чем автор: она не является для него центральной. И, кроме того, полемика относилась бы не к принципиальным основаниям проблемы, а к оттенкам и вариантам подхода к ее частностям. Это, конечно, интересно и заслуживает отдельного рассмотрения. Но при честном подходе просто невозможно приписать Солженицыну возложение монопольной ответственности за революцию на инородцев, в частности на евреев. Более того: он говорит о естественности борьбы евреев за свое полноправие. Еще в двух первых Узлах становится самоочевидным, что неравноправие особенно остро ощущается евреями на фоне роста общей свободы в стране. Но большинство профессионалов-революционеров еврейского происхождения борется не за права евреев, а за сверхнациональные, классовые и общечеловеческие, по их убеждению, идеалы. Они оторвались от родных корней и не пытаются врасти ни в какую другую национальную почву. Поэтому так много их среди радикалов-социалистов и особенно социал-демократов-интернационалистов. О карьеристах социалистической идеи Солженицын, устами Варсонофьева, предлагает не говорить, но тем не менее говорит. Среди евреев их не меньше, но и не больше, чем среди представителей других народов. В тех очень немногих случаях, когда в повествовании звучат голоса евреев, не стремящихся перестать быть евреями, они революции боятся и осознают, что антисемитизм (как всякая фобия) нейтрализуется (практически, если не психологически) скорее стабильностью общественных отношений и реформами, чем разгулом революционных стихий. Но оставим пока эту тему, подчеркнув еще раз: Солженицын не возлагает монопольной ответственности за крах государства Российского на злокозненных инородцев.

Возлагает ли он его на российскую интеллигенцию (вне зависимости от ее исходных национальных корней)? Гораздо в меньшей степени, чем в «Образованщине», потому что сегодня гораздо менее подвержен первичному впечатлению от «Вех». Солженицын 80-х годов тоньше, с более широким обзором, на основании более глубокого знания судит о механизмах исторических катастроф, чем авторы «Вех». Кроме того, что он располагает куда большим историческим опытом, чем мыслители начала века, он еще и непрерывно совершенствует свое видение мира.

Коротко можно резюмировать следующее: ни на один слой российского общества и народа Солженицын не возлагает монопольной ответственности за российскую трагедию и ни с одного ее современника не снимает ответственности персональной.

Солженицын в своей оценке вклада людей в события верен принципу: кому больше дано, с того больше и спросится. Чего больше? Всех социально весомых качеств. Больше власти — поэтому, как давно и неоднократно было им сказано, правящие отвечают больше подвластных им. Больше знания — поэтому солдат Арсений Благодарёв и даже хитрющий прапорщик Чернега или рабочий Шляпников отвечают меньше, чем Ленартович, Брусиллов, Коллонтай... Больше суммарных сил — поэтому ни с армии, ни с народа не снята ответственность за происшедшее. В конечном счете — каждый человек отвечает за свой выбор в каждом конкретном шаге.

Я не прибегала до сих пор к цитированию. Из такого стечения взаимосвязанных явлений и обстоятельств трудно вырвать фрагменты, не увеча целого. Но, к счастью для размышляющего читателя, Солженицын все же отсепарировал несколько своих выводов и сгустил их в двух главках Четвертого Узла: 180-й и 185-й («Саня с Ксеной у Варсонофьева» и «Варсонофьев после ухода молодых. — Масштабы»).

Мы говорили выше о том, как свобода «без конца и без края» сразу же начала утеснять и съедать скромную, казалось, свободу частного лица, которая уже становилась в России привычно не замечаемой повседневностью. Таково же и впечатление современника событий:

«И, вы заметили? — люди теперь стали говорить с большой оглядкой, чего два месяца назад не было. Тогда — говорили, что кому взбредет. А теперь — боятся, и все в одну сторону.

— Это, пожалуй, да, есть».

Виновата ли монопольно интеллигенция в том, что произошло:

«— Но все-таки, — имел Саня честность возразить, — к революции вела, пусть ошибочно, идея любви к народу?»

У Варсонофьева одна бровь поднялась сильно, другая лишь чуть-чуть.

— У нашей интеллигенции, откровенно сказать, очень много совести, да не хватает ума. Я — не о тех интеллигентах, которые вдруг с марта стали социалистами, — это почти сплошь карьеристы. Я — о самых добросовестных. У них у всех эти недели — что? Восторг, восторг — и обрывается, дыхания не хватает. Победа — в два дня, да — но что потом два месяца? Захлеб веселья и торжества. Вся энергия революции истекла статьями журналистов, речами ораторов и резолюциями собраний. Какая-то революция резолюций».

Как будто и похоже на 1990 — 1991 годы, но в чем-то — да, в чем-то — нет (об этом — особо, ниже). Важно то, что не злокозненность, а «идея любви к народу» и «очень много совести» лежат, по мнению собеседников, в основе побуждений интеллигенции.

Идеализирует ли Варсонофьев «народ» (понятие чересчур обобщенное и отвлеченное)?

«На столе лежали свежие газеты пачкой, он как привзвесил их двумя пальцами.

— Вот, что от этих страниц исходит? Фимиам, фимиам, фимиам — Народу. Но ничего земного нельзя делать с безудержным преклонением. Надо поглядывать трезво, да и по сторонам. Вровень народу смотреть, да предупреждать: эй-ка, братец, не расхлебайся. Нельзя кадить черни. Нельзя кадить зверю. Как предупреждал Достоевский — демос наивнейше думает, что социальная идея и состоит в грабеже. Что у нас и покатилося. На всех митингах: «Товарищи, требуйте!» По всей России клич — «подай!» Младенческий, до-политический народ легко соблазнить. Маниит, что, кажется: вот, вот она, вековая справедливость. Никто не имеет смелости объяснить народу: свобода — это вовсе не мгновенное изобилие, разорить казну — разорить и самих себя. Обязанности перед родиной — это и есть обязанности перед самими собой. Экзамен на свободу. Если мы так ломаем свободу, то мы и куем себе неизбежное рабство».

Значит, понимание «младенческим, до-политическим народом» «социальной идеи» как «грабежа» старше марксистско-ленинского «грабь награбленное»? И потому вина не может быть возложена исключительно и монополюно даже на Ленина, на большевиков. Ленин, обладающий, по Солженицыну, уникальной «сокрушительно-захватной мудростью» (но не созидательной!), знает, что народ проникнут именно таким пониманием «социальной идеи». Потому и бросает свое «грабь награбленное» в массы, как факел в бензин. Он глубоко ответствен за соблазн, который использовал как переворотный рычаг. Но и соблазненный ответствен за низость соблазна, которому с готовностью поддался.

У большинства революционеров, судя по этим венчающим повествование страницам, нет дьявольски сознательного замысла погубления России. Но человек ответствен и за безответственность, тем более за безответственное переступление заповедей и закона, за безответственное разрушение. За бездумное взятие на себя миссии демиурга «нового мира» и бремени власти, за ее неупотребление и безответственное употребление.

«Посмотрел на поручика. Посмотрел на курсистку. Еще ли, дальше?

— А мы и Европу кинулись поучать свысока. А слово «отечество» опять прокляли, — классы да классы. А классы и разъедают нации, и падает государство. Революционеры стелют Россию под свое кредо, нет времени подумать. Дантон хоть успел понять: «Революция подобна Сатурну: она пожирает своих детей». Но не они меня удивляют, а самые образованные. Самые первейшие кадеты. Привыкли всегда презирать, проклинать власть, и беря ее — не поняли: власть — это страшный дар. Мозжащий. С нею нельзя играть. И не с упоением брать ее, а обрекая себя».

Но и тут есть ловушка: бездействие — тоже безответственность.

«Чего-то, чего-то Саня хотел не упустить?.. А! —

— Павел Иваныч! А вы прошлый раз нам сказали, что строй отдельной человеческой души важнее государственного строя. Так если так — тогда что бы нам революция? Переживем. Лишь бы самим не одичать.

Варсонофьев качнул, повел головой.

— Сказал так? Это — не совсем осторожно. В мирные эпохи — пожалуй что так. Но когда государство разваливается — нет, нет, надо его спасти.

И опять помолчали».

Может быть, что спасать надо еще до того, как государство начинает разваливаться? Может быть, принципиально важен еще один момент: о каком государстве идет речь — о таком, которое можно спасти, исправляя его частности, стороны, законы, улучшая себя и его? Или о таком, в рамках которого нельзя улучшать себя и которое нельзя совершенствовать в его основных принципах, а надо менять принципиально, в главном? Может быть, март — апрель 1917-го и крушение СССР — явления не аналогичного, а взаимно противоположного смысла?

И уж, конечно, если все, сверху донизу, россияне свою страну Россию, которую можно было лечить, развивать, улучшать вместе с собой, раскачали до революции, то надо ее спасать. Только не поздно ли — на этом витке дороги?

«— Но может случиться и чудо? — едва не умоляя спросила Ксения.

— Чудо? — сочувственно к ней. — Для Небес чудо всегда возможно. Но, сколько доносит предание, не посылается чудо тем, кто не трудится навстречу. Или скудно верит. Боюсь, что мы нырнем — глубоко и надолго».

Итак, в «Красном Колесе» нет виновника монопольного и единственного — ни человека, ни слоя, как нет современника, не ответственного за происходящее. Самого яростного соблазнителя и разрушителя можно было бы схватить за руки вовремя, если бы не парализовалась воля, не затянулись пленкой глаза у тех, кто вроде бы зла не хотел и, более того, видел, что происходит. Почему же все-таки одни — рвались разрушать, другие — словно бы лишились воли, инстинкта самосохранения, зрения, рук? Откуда этот чудовищный, как бы не роковой срыв — на три четверти века, в пору тяжелого, со сложностями и перерывами, но несомненно более чем полувекowego, подъема? Срыв — при положении отнюдь не безвыходном и не тупиковом, а напротив, при восхождении?

В беседе Варсонофьева с Саней и Ксенией есть и такой момент:

«Павел Иваныч усмехнулся под усами:

— Тот самый скачок, которого так жаждал ваш друг.

— Неужели вы запомнили?!

— Да вот, запомнилось. Этот-то «перерыв постепенности» — он нам еще и нажарит. В здоровом нормальном развитии ничто живое не знает революций. Революция — это всегда катастрофа, распадаются государственные связи, и общество переходит в расплавленное состояние.

— Но еще, может, и плавно сойдет? — надеялся Саня.

Павел Иванович вздохнул.

— Вы знаете, что такое кристаллическая решетка?

— Помним, — быстро, уверенно заявила Ксения.

— Так вот. Революция подобна плавлению кристалла. Она разгоняется медленно, сперва лишь отдельные атомы срываются со своих узлов и кочуют в междуузельях. Но температура растет — и упорядоченность строения теряется все быстрее, процесс разгоняет сам себя. И чем больше уже нарушен порядок — тем меньше надо энергии разгонять его дальше. И вот — исчезает последняя упорядоченность, наступает — плавление.

— Но еще может быть — уляжется? — понадеялась и она.

— Иногда и улегалось. Революции не совпадают в подробностях. Но — похожи. В том, что трудно останавливаются. И в том, что никогда не находили истины. Да даже и простого благополучия не приносили. И для самих революционеров — тоже, потому что никогда не получается похоже на их первоначальную программу. А наша революция — она, глядите, отчаянная, она — в припадке падучей бьется. Вон, кричат: «углублять революцию». А что это значит? — Глаза его высвечивали недоуменно. — Как если бы люди были недовольны землетрясением и хотели бы сотрясти землю еще своими силами».

Мысль о великом благе эволюционного развития, не прерываемого катаклизмами настолько глубокими, что они ломают и плавят государственную и психологическую структуры народов, пронизывает публицистику Солженицына и «Красное Колесо». В двух последних Узлах перед нами развернуты начало и первые этапы сорвавшегося эволюционный процесс катаклизма. Трагизм этих двух «отмеренных сроков» усугубляется еще и тем, что их пусковые моменты находятся в прошлом, далеко от зримого начала (мы их видели в двух первых Узлах, но корни их где-то глубже), а кульминация — в будущем. «Мы — нырнем глубоко и надолго», — говорит Варсонофьев. И мы по сей день не знаем: мы уже вынырнули, или хотя бы выныриваем, или все еще погружаемся в непредсказуемое, все еще падаем?

Солженицын отнюдь не сторонник политико-экономической и юридической стагнации для России любой ее эпохи, в том числе и XX века. Напротив: один из корней катаклизма он видит в том, что власть слишком долго противостояла необходимым и своевременным изменениям. Тем более он не изоляционист и не предпочитает азиатские начала российского евразийства — европейским. В работе «Как нам обустроить Россию» он четко высказал предпочтение славянского государственного союза союзу многонационально-имперскому, чем смутил и возмутил многих. Вопреки, возможно, и некоторым периодам собственного все углубляющегося осмысления Истории, сегодняшний Солженицын устами Варсонофьева делает вывод:

«Как раз-то из-за революции и существенно: принять самую высокую точку зрения, откуда русская история последнего века увидится не сама по себе, а в единой концепции с Западом. Ибо на самом деле: слишком много общих опасностей и общих ошибок.

А наши до сих пор попытки осознать происшедшее вот с нами — это спичкой осветить океан».

Представляется вероятным, что сквозная мысль Солженицына о катастрофичности, трагизме скачкообразных судорог Истории (ее даже и развитием не назовешь) и его же венчающая «Красное Колесо» мысль о том, что «русская история последнего века» должна рассматриваться «не сама по себе, а в единой концепции с Западом», — объективно взаимосвязаны. Причем скорее всего эта взаимосвязь относится не только к последнему веку.

Крестьянские, казачьи, заводские (крепостных времен) движения Болотникова, Разина, Пугачева «кристаллические решетки» государственности «расплавить» не могли. Они были для отношений народа и власти, для тогдашнего положения народа естественны и без смертоносного для государства и народа напряжения затухали и подавлялись в «междуузельях» кристалла, а жизнь между тем медленно, но менялась.

Церковный раскол второй половины XVII века; верховная революция Петра I; восстание декабристов с пестелевским проектом царубийства и всего, что должно было за этим произойти; народовольческая охота на Александра II (реформатора, а не революционера); революция 1905 года (Столыпин — опять же — не революционер, а реформатор); запущенная, по внешней видимости, бездумной вспышкой недовольства городского простонародья Февральская революция — это феномены, проистекающие из миропонимания верховных сил и образованных меньшинств и посягающие на государственные основы (на «кристаллическую решетку»), на самую эволюцию государства и общества как таковую. Может показаться, что Февральская революция внесена сюда по ошибке, но это не так. Уличные волнения, ставшие ее экспозицией, могли быть легко обузданы при другом состоянии власти и образованного слоя, включая офицерство и генералитет. Радикалы и прогрессисты (каждый из этих кругов по-своему) увидели в настроениях улицы и части солдат подспорье для достижения (каждый — своих) политических целей. То, что при полном непротивлении власти и ее институций проистекло из этих полустихийных волнений, разворачивалось по инициативе и в противоборстве слоев политизированных, а не «до-политических».

Перечисленные мною во второй группе события имели различные цели, смысл, основания, приемы, источники и т.п. Ими руководили различные силы. Но все это были рывки или попытки рывка, резкого качественного изменения, как правило, «сознательные», то есть произвольные.

Оставим за скобками столь сложный и специальный вопрос, как разнохарактерные воздействия на историю Руси и России византийского и западноевропейского миров. Но выскажу предположение, что, по крайней мере, с конца XVII века в верхах и в образованном слое с известными колебаниями преобладали уже влияния европейские, которые еще до Петра I начали посягать на тенденцию почвенно-византийскую.

В наши дни весьма популярны две концепции российской истории. Главный тезис одной из них: в России, по причине рабской психологии ее народа и деспотизма власти, цикл подъема, кульминацию революции (или радикальных реформ) всегда сменяет победа жесточайшей реакции и нового гнета. Центральный тезис второй: плодотворную эволюционную схему органического, естественного развития России периодически ломает своими революциями (или реформами) «малый народ», чуждый «большому народу», то есть инородцы и западная интеллигенция. Порой с ними связана и центральная власть. Иногда «инородцы» — синоним евреев, а иногда последние особо не выделяются, и «малый народ» предстает просто как синоним прогрессистского образованного слоя.

Реакционные впадины после революционных подъемов характерны и для других народов. Но, когда речь идет о России, они воспринимаются многими историками не как колебания на пути «прогресса» (объяснили бы мне, что означает в применении к истории это слово), а как бессмысленное топтание на месте. Точно так же, более резким, чем у других европейцев, представляется ряду историков отличие российского образованного слоя («малого народа») по его взглядам, менталитету и идеалам от народных масс (Варсонофьеву — тоже).

Разумеется, не было «топтания на месте»: и Русь и Россия с течением времени претерпевали многообразные перемены, как и весь остальной мир. В творчестве Солженицына, а в «Красном Колесе» — в особенности (в «Марте...» — «Апреле..» — с исключительной наглядностью), предстают как бесспорная общность исторического контекста западного и российского XIX и XX веков, так и особо катастрофическая роль слишком уж «больших скачков» в российской новой и новейшей истории. «Большие скачки» российской истории с их предпосылками и конкретикой отмечены и интерпретированы многими художниками, исследователями, политиками и политиками. Мне представляется, однако, одним из наиболее продуктивных (среди мне известных) подход к проблеме происхождения этих революционных срывов, взрывов и прыжков с обрыва доктора философии Алексея Жданко¹, историка, в России, я полагаю, еще неизвестного, а значит, и не оцененного.

А. Жданко разрабатывал свою концепцию первоначально в применении лишь к российской истории. Позднее он расширил ее до весьма высокой степени универсальности. В интересующей нас части его идея состоит примерно в следующем. Для всех нас бесспорны неравномерность развития, разный возраст и разнохарактерность народов и государств Земли, различия их культур. Не менее самоочевидна взаимосвязь между ними, все более тесная и многоаспектная.

Когда по тем или иным конкретным причинам общество, по терминологии А. Жданко, менее развитое, отсталое (а может быть, более молодое или очень своеобразное — в общем, иное, чем источник влияний) массивно заимствует у другого народа (иногда — добровольно, нередко — по принуждению) нечто ему (еще или вообще) несвойственное, внутренняя стабильность общества-реципиента падает. Дестабилизация тем глубже, чем больше разрыв между донором и реципиентом по отношению к данному заимствованию или влиянию. Внешняя, объективная стабильность общества (народа), подвергнутого воздействию инородной культуры, может обеспечиваться до поры до времени сильной метрополией в ее колониях или центром империи в инонациональных регионах. Но если центр почему-либо слабеет и его влияние падает, чуждые ему «окраины» и вкрапления дестабилизируются и хаотизируются легче и прежде всего. Потенциальная нестабильность жила в них с момента вторжения мощных чуждых влияний.

Примеры, рассматриваемые А. Жданко, ныне можно распространить на очень широкий круг исторических феноменов, что он и делает. Так, согласно его модели, Италия, где капиталистические отношения возникли и развились намного раньше, чем в остальной Европе, естественно и органично, так и не пережила ни одной сокрушительной социально-экономической революции (только национально-освободительные). Франция и Англия, по мнению А. Жданко, получили и з в н е политические, концептуальные импульсы к изменениям раньше, чем дозрели до их собственного, внутреннего хозяйственного продуцирования. Эти импульсы привели к революционным потрясениям, ибо образованные, эмансипированные, а порой и правящие слои и группы стремились изменить отношения сознательно и с р а з у. Но из-за относительной умеренности разрыва, из-за наличия уже и собственных элементов тех же отношений внутри обществ-реципиентов потрясения оказались в данных случаях не апокалиптическими. Они были преодолены, не сменя с лица земли заимствующих государств и культур как таковых. Новым отношениям в ходе постепенно улегшихся сотрясений была лишь придана некая органическая для реципиентов специфика.

Пример иного характера: в случае очень уж инородных колонизаций экспансия «передовых» (?) культур убивала культуры аборигенов, а нередко — и их самих. И не только своими пороками, против которых здесь отсутствовал даже слабый иммунитет, но и своими благодеяниями: привозной пищей, губящей суровое местное искусство добывания хлеба (мяса) насущного; снижением естественной смертности при неизменной рождаемости, что влекло голод; экологией городских трущоб, убивающей вчерашних детей природы, и т. д. и т. п.

¹ Dr. A. V. Zhdanko (The Hebrew University of Jerusalem, The Marjorie Mayrock Center Faculty of Social Sciences). Une approche cybernetique de la philosophie des revolutions modernes. Proceedings of 13th International Congress on Cybernetics. Namur (Belgium). 1992.

У д-ра А. Жданко есть и другие публикации, связанные с интересующей нас проблематикой.

Между тем взаимодействие разнородных обществ совершенно неминуемо на небольшой планете с ее прогрессирующими во всех отношениях (скорость, дальность, точность, надежность, многообразие) способами связи и передвижения.

У А. Жданко есть размышления о перспективах преодоления жестоких издержек неизбежной нетождественности культур при неотвратимости всяческих взаимодействий этого неисчерпаемого разнообразия.

Вряд ли вышеупомянутые издержки могут быть сняты или полностью предупреждены, как и издержки взаимосвязей между людьми, и между человеком и природной средой его обитания. История человечества на Земле накопила много необратимого и непоправимого. Но, возможно, еще не исключено, что человеческой таинственной способностью к нравственной оценке, непостижимым существованием в нас Совести, растущими способностями к анализу и самоанализу, прогнозированию и «подходящему отбору» эти издержки могут и смягчаться? Не доводиться до сокрушительного размаха?

В солженицынском повествовании, как бы того ни хотелось экстремистским краям, не звучит реактивное: «Двери, выходящие на Запад, — на замок! Окна — зашторить! Все взоры — внутрь, вглубь, в Царьград!» В его повествовании если и наличествует реакция, то это реакция возвращения к событиям и их осмысление.

Ведь, кроме всех прочих органических не-тождеств, Русь, Россия, в грубом приближении, на полтысячелетия моложе послеримского Запада, не говоря уж о мире античном. Развиваясь очень быстро и достаточно рано проявляя близкие к западным тенденции, хозяйственные и политические, Русь оказалась для Запада защитным кордоном, в пространствах которого захлебнулось, замедлилось и утратило основную ударную мощь татаро-монгольское нашествие. Авангард его домчался до Запада уже на излете. Но тем самым усилилась взаимная разноликость и разнокачественность Руси и Европы.

По ряду историко-географических причин надолго законсервировался более молодой возраст восточного славянства, а затянувшаяся юность — это уже инфантилизм, некое отставание в чем-то от нормы. Да и сама Русь-Россия внутри себя оказалась конгломератом разномерных, разновозрастных, разнокультурных субэтносов. Их труднее было сплавлять в целостное государственное единство, чем моноэтнические или малоэтнические западные государственные образования. От Центра здесь требовалась большая степень принуждения и напряжения. Если перескочить к периоду колонизации, то заморские колонии европейцев тоже не внедряли в жизнь своих метрополий того дополнительного разнообразия, разнохарактерности, разновозрастности культур (то есть того потенциала нестабильности), которые вносили в российскую жизнь прилежащие иноэтнические территории. Эта близость при органической разности тоже требовала дополнительных централизирующих напряжений, преодоления, подавления.

Естественно, что первым терял и теряет исходную этническую особость образований слой, через который притекают все инородные влияния ареалов, в общепринятом смысле более развитых. Еще естественней, что проникающие в быт и жизнь метрополий инородцы были заведомыми носителями идеи выравнивания прав. И чем более ассимилировались они в метрополии, тем естественней была для них борьба за такое выравнивание. Закономерно и то, что метрополия куда меньше боялась инородцев, имеющих свои этнические пространства и проникающих в ее жизнь лишь единично, чем дисперсно рассеянных по всем ее территориям; что последних она дискриминировала, то есть ограничивала в правах и возможностях, куда больше. Эта организменная реакция отторжения тоже создавала дополнительные напряжения и потенциал нарушения стабильности.

Народ, приемля великую религию, легче — в массовых своих слоях — осваивает внешнюю ее сторону, чем ее глубины. Так, молитва, сакрализация иконы, посещение храма входят в обиход народов-неофитов сравнительно быстро, ибо места отправления культов, магические предметы, обряды, ритуалы (пусть иные, но в принципе, как явления) знакомы уже и язычеству. Концептуальные же философы и этические основы монотеизма для него новы и ему чужды. Они осваиваются с огромным трудом и не всеми.

Запад, как и Россия, получил христианство извне своих античных и варварских культур. Христианство пришло к нему поначалу, казалось бы, тонкой струйкой, растекавшейся кровавыми пятнами на песке римских цирков. Долго, мучительно каждый западный этнос, каждый слой западных обществ его осваивал, перерабатывал соответственно своим особенностям, причем нередко далеко не христианскими средствами. Но ко времени появления в образованных слоях стран Запада рационалистов-просветителей христианство имело там и мощный державно-церковно-духовный пласт, и повседневную внедренность в народный быт. И то — скепсис гуманистов-рационалистов в вольной интерпретации французских революционеров

и городских толп 1789—1794 годов сотряс христианский Запад до основания, залил кровью городские площади и поля сражений.

В Россию идеи просветителей пришли извне, через тончайший образованный слой. За сто с лишним лет до этого российское православие было жесточайше расколото никонианской реформой, последствия чего, по мнению ряда историков, в том числе и современных, наложили на все дальнейшие пути России неизгладимый отпечаток. Естественно, что приток новых идей и обычаев зазмеился новыми трещинами по народному телу России. Это тоже ослабило потенциально ее стабильность, но ведь иначе ни люди, ни этносы, ни государства сосуществовать и взаимодействовать не могут. Такова историческая данность: взаимная нетождественность, взаимодействие, осложнения. Вопрос вопросов: как и когда мы научимся нейтрализовать свою взаимную нетождественность без роковых издержек?

Петр I, конечно же, не только из-за неукротимого нрава, страстного темперамента и кукуйских влияний стал в бешеном темпе вестернизировать Русь. Огромная, богатейшая природно страна была лакомым куском для всех сопредельных государств. Утвердить ее собственную державность и независимость без культурной и военно-технической модернизации было нельзя. Если бы Петр не начал завоевательных войн, у него было бы время для хозяйственно-правовой эмансипации, которая дала бы всестороннюю модернизацию сама собой, без насилия над большинством народа. Так начали Александр II, потом — Столыпин (и хотели начать до Петра Василий Голицын и Софья, и не только они одни). Но Петр окончательно связал и закрепостил «младенческий» и «до-политический» еще и в 1917 году народ и батогамии погнал его на свои великие войны и великие стройки. Он не менее полно подчинил себе высшие классы, включая духовенство, и одних послал (в большевистском темпе) учиться у Европы в Европе, а других поверхностно и беспощадно европеизировал дома. Он с такой силой и радикальностью потянул более или менее образованные (вернее — грамотные) слои в сторону, противоположную привычной народной ориентации и народной инерции, что у народного тела хрустнули шейные позвонки. Так возникла еще одна глубинная неоднородность внутри нации. Народ был надолго обречен оставаться «младенческим» и «до-политическим», а поверхностно вестернизированный образованный слой — беспочвенным. И это тоже не увеличивало остойчивости и устойчивости, а требовало наращивания централистско-властного напряжения.

Говоря об этом «рывке» Петра I, я имею в виду не мысль Ключевского, процитированную недавно М. Геллером («Русская мысль», 28 августа 1992), о том, что в отсталых странах «нужда реформ назревает раньше, чем народ созревает до реформы». Александр II проводил реформы, для которых народ созрел за век до того, и постепенно народ эти реформы, так сказать, осваивал. Столыпинские реформы шли не сами собой, а усилиями реформаторов, но тоже приносили плоды. Я говорю о тех случаях, когда миропонимание правящих или образованных слоев форсирует скачкообразные сдвиги, которые (еще или вообще) невозможны, не нужны, не полезны для всех участников драмы: для нации, для народа, для государства. Рывок идет не от «нужды реформы», а от чьего-то волюнтаризма, либо возникшего не ко времени, либо вообще утопичного. Иногда разрыв во времени (между возникновением идеи перемен и появлением истинной нужды в переменах) не так уж и велик, и все постепенно утрясается. Иногда разрыв этот непреодолим и произвол «скачконосцев» разрушает насилуемое сообщество.

Парадоксальным образом «большие скачки» (большевики доказали это как никто другой) в конечном счете только замедляют, а потом исключают модернизацию, которой добиваются «скачконосцы». Сделаем, однако, и мы некий «скачок» в наших размышлениях.

На Западе социалистические (XVI—XIX веков) идеи, включая марксизм, явились реакцией на тяжелые издержки бурного развития капитализма. В этих учениях образованный слой протягивал руку помощи и открывал пути спасения жертвам первоначального накопления капитала. Одновременно складывалось и массивное третье сословие. При всех кризисах и колебаниях общественного настроения и даже катаклизмах «третье сословие» балансировало крайности. Ему жилось все лучше. Оно коренных перемен желало все меньше и потому помогало основным социальным структурам устоять до тех пор, пока стало ясно, что и пролетариат в массе своей имеет тенденцию вовсе не люмпенизироваться, а переходить в «средний класс». Это невероятно раздражало и огорчало Маркса, Энгельса и вторящего им позднее Ленина. Но социализм не стал взрывчаткой для органически породившего его Запада, где он являлся противовесом реальным порокам строя. Не стал потому, что параллельно социализму развивались и положительные стороны капитализма, и другие противовесы его издержкам.

В Россию XIX века идеи революционного социализма привносит сочувливая и сострадательная к народу интеллигенция, усвоив их от западных авторов и по-своему акцентировав. Ей больно за народ, она сочувствует ему, она терзается своей перед ним виной. Идеи социализма начинают усваиваться интеллигенцией еще до реформы (классовой базой этих идей социалистам представлялась крестьянская община и отчасти артель).

Когда эти идеи из атрибута интеллигентского мышления превращаются в руководство к действию, в инструмент революционной пропаганды, им не на что опереться в народе, кроме чувства обиденности, ущемленности, обреченности, озлобленности против богатых, живущего в малоимущих и неимущих слоях любой формации. И так как балансира в лице полноценного «среднего класса», массивного «третьего сословия» и «рабочей аристократии» здесь почти еще нет (русский купец, промышленник, мастерской помнят еще своего крепостного деда, а то и отца), а фермерство начинает превращаться в класс лишь в XX веке, то взрывчатая сила чувства обиды, несправедливости, обделенности весьма велика и резко возрастает в периоды бедственные (война, неурожай, эпидемии и т. п.). Все это понимал лучше других государственных деятелей Столыпин, и далеко не только один Столыпин. Но преобразования, начатые в 1860 — 1910 годах, еще не успели скрепить Россию цементом экономического процветания.

В «Красном Колесе» Варсонофьев напоминает Сане и Ксенью с полнейшими к тому основаниями, что в «младенческом» «до-политическом» народе «кадить зверю», «кадить черни» особенно опасно: в нем зверь, сидящий в каждом из нас из-за нашей полуживотной природы, очень силен. Но если социалисты «донаучного» нерадикалистского толка народу в основном кадили и страдали (вспомним, что Варсонофьев говорит и так: «Но ничего земного нельзя делать с безудержным преклонением»; иными словами — «не сотвори себе кумира»), то террористы-народники и большевики зверя в массах людей сознательно и упорно провоцируют. И это преступно и непростительно, ибо, как мы знаем, горе тому, через кого входит в мир соблазн.

Так возникает еще одна цепь дестабилизирующих напряжений, с которой власть справиться не умеет, а в образованном слое справляться некому: он сочувствует провокации и осуществляет ее.

Нельзя умолчать о еще одном из ристалищ все той же внутренней неравномерности, которого мы уже отчасти касались: о еврейском вопросе — о евреях, массово хлынувших в Россию с разделом Польши. Еврей, пребывающий в замкнутости физического и духовного гетто, являлся фактором жизни основного народа в меньшей и иной мере, чем еврей, вышедший из этой замкнутости и пытающийся стать во всех отношениях равноправным с аборигенами, ассимилироваться в их культуре, хозяйстве и праве. Вполне естественно, что духовный мир гетто и «черты оседлости», второе тысячелетие коренящийся в сферах иудейской древности, предания, обряда, религии, элитарно — в мире философских течений и глубин иудаики, иврито-арабо-испаноязычного ренессанса и слабых ростков новоивритской и идишитской литературы, не мог удержать в своих пространствах амбициозную еврейскую молодежь конца XIX — начала XX века. Чем более демократизировался западный мир, тем легче еврейская молодежь перешагивала запреты сурово-ограничительной родной традиции, рвала с родными корнями. Она тем энергичнее и смелее к этому стремилась, чем острее ощущала: самый высокий авторитет внутри «черты оседлости» не уменьшает ее приниженности и фактической внекультурности в большом мире, вне гетто. Для обретения уважения и признания в большом мире рассеяния еврейским растиньякам нужна была его, этого большого мира, культура.

В массе случаев еврейская эмансипированная молодежь совершенно искренне жаждала слиться с культурой и духовностью коренного народа, еще чаще — с некоей всечеловечностью. Но всечеловечность — абстракция, обретающая тело и краски только через родное. А «родное чужое» — это оксюморон. Даже когда ассимилированный еврей ценой колоссальных личных усилий входил в русскую духовность от религии до искусства, как в свое собственное, дорогое ему духовное бытие, окружающие видели в нем пришельца, чуждого («конь леченый, вор прощенный, жид крещеный — одна цена»). Да ему и редко удавалось освоить чужое во всех его красках, разве что — гениям. Чаще выходец из просторов родной ограниченности безжалостно обрывал свои старые корни, но оставался на поверхности (или в поверхностном слое) почвы новой. Вместе с тем он совершенно естественно для человека с развитым личным достоинством оскорблялся неприятием и отчужденностью со стороны окружающих и претендовал на юридическое, соревновательное и бытовое равноправие с ними. Ему было больно, и он не понимал, почему его отторгают. Между тем не только ксенофобия, свойственная в разной мере всему живому, мешала новой среде принять чужаков. Примешивалось и потенциальное соревновательное неравенство: различные степени динамичности, разные темпераменты, разные меры практицизма и

прагматизма, настороженности, активизма. Молодой народ не мог воспринимать без опаски этнос четырехтысячелетний, беспощадно отселекционированный в своем выживательном упорстве, испокон веков книжный, заклеянный в христианском сознании как христоубийца (последнее легче воспринималось и запоминалось, чем то, что это был и народ Марии, и народ Христа, и народ первоапостолов, и народ первохристиан). Неприязнь периодически перерастала в эксцессы; она реализовалась и в государственном законодательстве. Но евреи, и в первую очередь ассимилированные, не хотели и не могли воспринимать гонения, неравноправие, неприязнь, переходящую в ненависть, с покорностью, с философским и научным беспристрастием, с терпеливой выжидательностью. Ассимилянты и в условиях полного равноправия склонны к радикализму: если свои корни отрезаны, а новых еще нет, то откуда взяться консерватизму? А уж ассимилянты гонимые — тем более. Новый мир без наций и классов, без гонимых и обездоленных, — к чему же стремиться в таком положении, если не к нему? Солженицын несколько раз говорит о естественности легкого вхождения евреев в революцию и высокой активности в ней. Но естественность конфликта не смягчает его, а скорей обостряет. Еврейский вопрос умножает внутренние неравномерности российского мира, а значит, и его готовность к дестабилизации.

Постепенное, компромиссное, конструктивное решение наличных проблем Российской империи, даже в 1916 году, при ненужной войне теоретически (то есть объективно) было возможно. Многие видели, угадывали, нащупывали его пути. Но неповторимый и неуловимый «дактилоскопический рисунок» реальных обстоятельств породил катастрофу, которой никто ничего не успел или не сумел противопоставить. Солженицын воспроизвел ее на наших глазах.

Воссоздавая события 5 мая 1917 года, художник нанес последние штрихи на гигантское полотно, сделал последние мазки. В его глазах, в этой точке многомерного повествовательного пространства исход февральской трагедии, как уже было сказано, решился. Чуда не могло быть, ибо слишком немногие сознательно «силовились ему навстречу» (А. Солженицын, «Как нам обустроить Россию»). А лодку раскачивало большинство в ней пливших. На этот раз тысячелетний феномен по имени Русь, Россия давления великого множества внешних и внутренних дестабилизирующих и взрывных воздействий не выдержал. Между началом 1917-го и 90-ми годами этот феномен приобрел облик и свойства, о которых следует говорить особо. Тем более, что он и по сей день пребывает в преобразующем — неизвестно во что и куда — движении и менее стабилен, чем когда бы то ни было.

4. «И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО...»

Правомерна ли столь характерная для Солженицына параллель между февралем («Мартом» — «Апрелем») Семнадцатого и событиями конца 80-х — начала 90-х годов теперь уже в бывшем СССР?

Для Солженицына это параллель сущностная и с давних пор очевидная. Он задолго до эры «перестройки и гласности» боялся повторения февральского «кабака», развалившего страну в восемь месяцев. И в наши дни, например, в интервью С. Говорухину в Вермонте, он эту параллель продолжает констатировать. Более того: он всегда считал, что «кабак» на этот раз будет и страшней и безвыходней.

Я принадлежу, однако, к тем, кто вопрос, наличествует ли между этими двумя эпохальными сдвигами принципиальное тождество, склонен трактовать несколько иначе.

Солженицын сделал нас очевидцами событий весны 1917 года. Происходящее сегодня мы переживаем как современники. Благодаря этому мы участвуем и в первых, и во втором. Думаю, что события марта — апреля 1917 года и события (беря приближенно) 1985 — 1992 годов — это в некотором глубинном смысле не тождество, а взаимная антитеза.

Есть ли сходство между февральской и современной (осень 1992 года) Россией?

Событийно, сюжетно, по воздействию происходящего на жизнь людей, на ее стабильность, во многом — да. Внутренне, сущностно, принципиально — нет.

Главное в этих двух сотрясениях не совпадает: у них принципиально различные начальные и краевые условия.

Первое (Февральская революция) было грандиозным историческим несчастным случаем, катастрофой. Разве мы не знаем, что в катастрофах гибнут и здоровые люди? Что в них разбиваются и работоспособные, неизношенные механизмы? Что заболевают и умирают преждевременно и жизнеспособные существа? Приводит к этому каждый раз свое: то трагическая случайность, то цепь собственных ошибок, то чей-то злой умысел — словом, то зависящие, то не зависящие от гибнущих обстоятельства. Как произошла и приобрела необратимость та катастрофа, Солженицын нам показал.

Еще раз отвлекусь от двух последних Узлов «Красного Колеса».

Перечитывая недавно мемуары Романа Гуля, я остановилась на эпизоде, который при первом чтении первого тома² и при его рецензировании не привлек моего внимания (еще одно доказательство того факта, что неподготовленный читатель — плохой соавтор писателя). В 1981 году я слишком мало знала о России, о революции, о первой эмиграции, чтобы по-настоящему воспринять бесценную книгу Гуля. Этот эпизод в очередной раз показывает, как точно «Красное Колесо» Солженицына воспроизводит истинную картину российских обстоятельств 1910 — 1917 годов. Вот отрывок (речь идет о «русском Берлине» начала 20-х годов):

«...Среди обедавших я невольно обратил внимание на пожилого, с проседью, крепкого человека с заклиненной седоватой бородкой, по-военному выправленного так, что если бы обедавшие и не обращались к нему — «ваше превосходительство» — я сразу определил бы его, как военного. Штатский костюм сидел на нем, как мундир. Но генерал привлек мое внимание не внешностью, а суждениями. Разговоры за столом шли, конечно, о политике. К «его превосходительству» обращались с вопросами. И всегда все, что говорил этот генерал, было умно, остро, было видно, что генерал политически весьма ориентирован и со своим мнением. По войнам (мировой и гражданским) я знавал русский генералитет, и надо честно сказать, что наши генералы в подавляющем большинстве были политически невежественны (в противоположность иностранным военным). Недаром во время революции сам глава генерального штаба генерал М. В. Алексеев, ища патриотической поддержки среди левых, однажды обратился к социалисту-патриоту Г. В. Плеханову: — «Георгий Валентинович, ваше слово, как старого социалиста-революционера, было бы...» — Плеханов поправил генерала, и, думаю, на лице Плеханова отобразился «ужас» — чтобы его, «отца русской социал-демократии», назвали «старым социалистом-революционером»!.. Поэтому-то своей политической осведомленностью и удивлял меня кушавший у фрау Бец генерал. Под конец я не выдержал и, уходя, спросил фрау Бец — «фрау Бец, скажите, пожалуйста, кто этот генерал?» — «А вы разве не знаете? — удивилась она. — Это же Александр Васильевич Герасимов!». Тут я (внутренне ахнув) понял, почему так умен и политически образован этот солидный генерал. Это — бывший начальник Охранного Отделения ген. А. В. Герасимов, правая рука быв. премьер-министра П. А. Столыпина, тот, кто мертвой хваткой схватил двустороннего предателя Азефа, заставив работать только на Охранное. И тот, кто спас Азефа от убийства эсерами, после разоблачения, дав ему подложные документы и деньги.

Вскоре Б. И. Николаевский познакомился с А. В. Герасимовым. Оба они были великие знатоки русского революционного движения, но... с разных сторон баррикады. Они стали встречаться и беседовать (очень интересно). Дома Б. И. записывал рассказы А. В. для себя. Но давал их читать мне. Эти записи мне оченьгодились при писании мной исторического романа «Азеф», в котором я вывел и генерала Герасимова. Герасимов опубликовал свои воспоминания по-немецки и по-французски. Жаль, что до сих пор они не вышли по-русски».

Уже вышли — в редактируемой и издаваемой А. Солженицыным (за счет гонораров от «Архипелага ГУЛАГа») уникальной серии «Всероссийская мемуарная библиотека» (ВМБ), насчитывающей двенадцать томов и продолжающей выходить. Замечу, что генералу Герасимову история и личность Азефа видятся несколько иначе, чем Б. Николаевскому и Р. Гулю. Но продолжим цитирование воспоминаний Гуля:

«Из политических рассказов Герасимова Николаевскому я запомнил особенно один. Герасимов был близок к Столыпину в задачах внутренней политики. И вот Герасимов рассказал, что он и Столыпин разрабатывали законопроект о легализации всех русских политических партий, за исключением тех, которые прибегают к террору. По этому законопроекту (если бы он осуществился) в России оказался бы такой политический спектр: союз русского народа, октябристы, конституционные демократы (кадеты), народные социалисты, социал-демократы (меньшевики). История указывает, что если бы подобный законопроект воплотился в общественной жизни, социалисты-революционеры отказались бы от применения террора. За это говорит их отказ от террора после объявления манифеста 17 октября 1905 года. Вне

² Р. Гуль. Я унес Россию. Т. 1. Россия в Германии. Нью-Йорк. «Мост». 1981, стр. 115—116

легальности остались бы лишь большевики-ленинцы с своими «эксами» банков. Думаю, что это был политически-мудрый путь успокоения и нормализации общественной жизни России. Но... Николаевский спросил Герасимова: почему же проект не осуществился? На что Герасимов, махнув рукой, коротко проговорил: «камарилья в зародыше удушила...» Эта дворцовая камарилья, вершившая дела у трона, более всех виновна в страшной беде России. Она отстранила Витте (и не только его), убила Столыпина, создала распутинщину и сухомлиновщину и привела к катастрофе революции...»

Оставим в стороне «распутинщину» и «сухомлиновщину» как лежащие вне темы нашего разговора. Но вспомним: в «Августе Четырнадцатого», то есть соответственно интерпретации Солженицына, убийство Столыпина Богровым совершено под влиянием общественного «идеологического поля» (Солженицын) и при явном попустительстве киевского охранного отделения, связанного с вышеупомянутой «камарильей». И отставка Столыпина, предрешенная царской четой накануне убийства, тоже в немалой степени подсказана этой околотронной силой, интриговавшей против премьера-реформатора. Характерно и то, что реформа, подобная упомянутой генералом Герасимовым, сделала немецких социалистов союзниками кайзеровского правительства во время войны (правда, весьма ненадежными в момент поражения Германии). Спектр партий, перечисленных Р. Гулем, примерно соответствует партийной амальгаме ряда демократических стран.

Яркий рассказ Гуля позволяет нам в очередной раз увидеть многое: как прозорлив был Столыпин, неоднократно предлагая умеренным прогрессистам Думы союз с правительством против экстремистов и сотрудничество в реформе; как не соответствовал своей эпохальной миссии Николай II; как слепа была насквозь радикализованная российская интеллигенция; каких неожиданных и сильных союзников могли бы иметь просвещенные «центристы» России, не заноси их исключительно и только «налево»; как (подчеркнем еще раз) зорко воспроизвел сложнейшую ситуацию 1900—1917 годов Солженицын.

Второй сдвиг (зримое начало крушения коммунистической тоталитарной Системы и ее империи) предопределен роковыми свойствами самого этого феномена, а не трагическим стечением обстоятельств. Речь могла идти (и Солженицын в своей работе «Как нам обустроить Россию» ее повел) лишь об одном: как сделать, чтобы, рушась, это чудовище не раздавило, не додушило, не увлекло в свою могилу сотни миллионов людей.

«Посильных соображений» Солженицына в 1990 году не захотели услышать. Горбачев прилюдно извратил смысл его слов. Украина, Казахстан, Узбекистан — обиделись. Первая — за то, что Солженицын советовал ей не отделяться от России и Белоруссии. Второй — за то, что писатель рекомендовал ему руссконаселенные области отдать России. Третий — за то, что автор брошюры полагал целесообразным для России отделиться от Средней Азии. Причем убеждал совершить все это постепенно, мирно, путем переговоров и референдумов. Обиделась жестоко и часть русских — за полное неприятие империи. А лучше было бы, не обижаясь (на что?), обсудить и путем ряда компромиссов уточнить свой выбор. Ельцин нашел время поговорить с Солженицыным почти через два года после выхода в свет этой брошюры. Демократы ударились в основном в язвительный скепсис. Запад Солженицына, как всегда, не слышал, а все еще ловил каждое слово «Горби». А между тем в 1990 году эти оставшиеся одиночными размышления, откликнись на них их адресаты, могли бы воздействовать на ход событий, как хороший консилиум — на лечение и ход болезни. Но, к несчастью, люди, настроенные патриотически, не повернулись к совместному серьезному разговору в одни из немногих отпущенных России для выбора — минут? часов? дней? месяцев? Ельцина Солженицын тоже открыто и однозначно не поддержал...

Весной 1917 года человеческое упрямство, человеческое нетерпение, неведение, везение одних, невезение других, человеческие иллюзии, ошибки в понимании своего и чужого блага разрушили государство и сообщество, которые нельзя было, незачем было, грешно было разрушать. Это государство и это сообщество могли жить и поступательно разрешать свои непростые (а у кого они простые?) проблемы. Даже запоздалость реформы 1861 года и страх крестьянства перед нормальными рыночными отношениями уже изживались. В России зримо складывалась, могла бы сложиться многонациональная конституционная монархия, процветающее аграрно-промышленное хозяйство. Все ли, не все ли ее территории начала века остались бы при ней и в каких статусах — это не столь уж и принципиальный вопрос. Вероятно, не все. Мы видели на примере Великобритании, что распад империи — не синоним смерти державы и нации. А здесь территории были не заморские, и своевременно

преобразованный их союз оказался бы, возможно, прочнее и шире, чем Британское содружество наций сегодня. Нам скажут: что не сохранилось, то и не могло сохраниться. Повторим еще и еще раз: это — заблуждение. Когда у больного кризис, то даже мелочь в тактике врачей, в поведении родных, его самого может оказаться губительной или спасительной. Особенно при заболевании тяжком, но не смертельном. Браки, романы, дружбы, семейные и деловые связи сохраняются или разрушаются в критические моменты, в огромной степени — в зависимости от нравственности и культуры партнеров. Исход человеческих конфликтов далеко не всегда предрешен фатально. И даже решив расстаться, люди разного нравственного уровня расстаются по-разному. Кстати, Солженицын не раз говорил о принципиальной применимости к обществу и к политике критериев личной нравственности.

Нет, ни о России 1917 года, ни о России и СНГ 1991—1992 годов нельзя сказать уже упомянутыми выше словами В. Ключевского, что нужда реформы созрела в них раньше, чем народ созрел для реформы. Во-первых, в обоих случаях речь шла не о реформе, а о революции — о сокрушении и замене основ государственного строя. Во-вторых, в России 1917 года никакой нужды в такого рода радикальной трансформации не было. В-третьих, в СССР—СНГ—СНГ — ??? и России конца 80-х — начала 90-х годов спорят друг с другом не нужда в реформе и незрелость народа, а неотвратимый распад нежизнеспособной Системы и разнонаправленные попытки этот распад остановить. Причем одним остановка распада нужна для преобразования монстра в нормальный организм (или организмы), другим — чтобы повернуть историю вспять и воссоздать монстра.

Очень горько, что преобразователи рушащегося чудища в здоровый организм разрознены и между собой чуть не дерутся. Зато реаниматоры чудища объединяются в совершенно немыслимых, казалось бы, сочетаниях: империалисты-государственники, коммунисты, нацисты, монархисты, «христианские (?) демократы (???)», подводная часть айсберга КГБ, ВПК... При внимательном, однако, взгляде странность, парадоксальность этой «заединщины» исчезает: в их лицах, привычно используя отчаявшиеся массы, жестоко пострадавшие от аварии экономики, Система спасает себя самое в разных своих ипостасях. И привычная унитарность СССР тоже работает на имперские комплексы.

Люди, великое множество людей, страдают от аварии старых хозяйственных связей, от беспрецедентной трудности и неумения налаживать новые (и хорошо забытые старые), от мучительного конфликта между вдруг очнувшимся родо-племенным атавизмом и своей давней этнической смешанностью и сращенностью, от всей своей, на протяжении трех четвертей века, мировоззренческой и духовной поврежденности. И естественное сострадание к ним тоже порой парадоксально срабатывает против попыток реформ.

О том, что было разрушено в 1917 году, мы уже говорили.

Что же разрушается сегодня?

Большевики собрали распавшуюся в гражданской войне империю, потеряв от нее самую малость, и вроде бы остановили ее распад. За это их полюбил и простил в годы войны с нацистами даже Милюков, не говоря уж о евразийцах, младороссах и вообще обо всех великодержавных государственныхниках первой эмиграции, а также о Западе, жаждавшем, как всегда, стабильности любой ценой. Им всем показалось, что большевики остановили и искупили февральский разнос. Заметим, что Запад всегда готов на любую цену, которую, как ему кажется, заплатит не он. Но платить приходится и ему. И чем он заплатит за большевизм в целом, еще неизвестно.

Очень долго созданное большевиками государство казалось монолитным и мощным. На самом же деле большевики распада той, разрушенной в феврале — октябре 1917 года, жизни не остановили. Они сковали поверхностный политический хаос. Но вырождение и разрушение нормального бытия продолжались и нарастали. Организм выглядел и (под гром оркестров) рекомендовал себя здоровым, сильным, растущим. Он даже заглатывал сопредельные территории и распространял метастазы по всей планете. Над ним реяло море красных знамен и пылали рубиновые звезды. Но внутри него, проникая во все его ячейки, продолжался необратимый злокачественный распад. Он шел на всех социально-организменных уровнях и в природной среде одной шестой части суши, затрагивая и мировой океан. Все внешние знаки расцвета были ложью.

В конце концов распад всех нравственных и продуктивных начал не может не обернуться крушением Системы. И чем полнее победа последней над жизнью, тем ближе к гибели и победительница. Полностью разложив организм, злокачественная опухоль не может не умереть вместе с ним. На этом уровне всякие параллели между Февральской революцией и крушением Советского Союза кончаются. Россия 1917 года могла жить — коммунистическая Система, что бы ни твердили ее апологеты, не могла не разрушиться. Р о с с и ю надо было всеми силами защитить от крушения — к о м -

м у н и з м у надо не позволить добить вместе с собой Россию: людей, ее населяющих и ее окружающих, природу, землю. Коммунизм нельзя было более длить, но его надо было демонтировать прежде, чем он раздавит всех под своими обломками и отравит все ядами своего разложения. Об этом — «Как нам обустроить Россию». И страна, если уцелеет, к «Посильным соображениям» Солженицына еще вернется. Должны произойти изменения, без которых люди, населяющие пространства пост-СССР, не могут выжить, но произойти они должны с наименьшими для этих людей потерями.

Подытожим: в отличие от дофевральской России Система, существовавшая на этих пространствах три четверти века, не распасться не может. Как сохранить при ее распаде людей, жизнь, природу — вот вопрос вопросов.

Первая, «пусковая», еще поверхностная победа хаоса над российской историей XX века — Февраль — имеет, как мы убедились, великое множество уходящих в глубины прошлого и трудно уловимых причин. Но в этой первой схватке победили большевики — сила монополярная, моноидеологическая и одна на правленая. Не столько победили, сколько воспользовались долгим непротивлением и ошибками других сил. И у дальнейшего, все более глубинного и злокачественного распада появилась одна наиболее отчетливая причина, в первую очередь за этот распад ответственная. Если игнорировать лексику большевиков, снять шелуху терминологии и риторики, мы увидим: в их лице люди берут на себя роль демиурга и намереваются построить мир, лучший, чем тот, который построен Творцом. И когда говорят (а говорят часто), что суть не в социалистическом эксперименте, что корень бед в утрате людьми веры и совести, я позволю себе с этим не согласиться. Бывает, что Зло срабатывает в пользу Добра, но нередко самые добрые побуждения работают в пользу Зла. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», но и «благими намерениями вымощена дорога в ад».

Человек, несомненно, может улучшать общество и жизнь, улучшая себя и свои установления. Но в мире, в котором мы были созданы, есть законы, для нас объективные, нарушить их невозможно. Нам не дано ни отменить их, ни изменить, сколь бы хорошим и справедливым нам это изменение ни казалось. Во всяком случае, до тех пор, пока нам не откроется какой-то более общий, высший Закон.

Часто говорилось при Горбачеве и говорится теперь, при Ельцине (сентябрь 1992), что надо сначала стабилизировать хозяйственную и социальную ситуацию, вернуть ей упорядоченность, а потом уже начать ее улучшать. Советуют заморозить (на период стабилизации) все радикальные экономические реформы. Это нонсенс, пустое сотрясение воздуха. Ситуацию дестабилизировало и продолжает дестабилизировать именно то, что принимается за «порядок»: социалистическая Система. В рамках этой Системы средств стабилизации нет. Не поможет уже и принуждение жесточе сталинского: резервы исчерпаны. Более того — социализм есть синоним злокачественной дестабилизации. Отсрочка реформ есть приближение момента необратимости распада. Все попытки его остановить, кроме истинной приватизации земли, производства и торговли (причем приватизации людьми и их независимыми от государства и монополий группами, а не той же самой Системой под маской лжеассоциаций, псевдокорпораций и других мафиозно-бюрократических оборотней), все меры, кроме такой приватизации, — это губительная имитация реформ, а не реформы. Имитация лечения не может излечить настоящую болезнь. Обратни имитируют приватизацию, а болезнь между тем переходит в неизлечимую стадию. Фактор времени здесь решающ. Во времена солженицынского по сей день не понятого и не принятого «Письма вождям» постепенные меры ремонта Системы были мыслимы. Но вожди не мыслили. Во времена публикации «Посильных соображений» многое можно было сделать без роковых издержек. Но одни этого не хотели, другие не поняли. Не все выглядело бесспорно в обеих этих работах. Но время показало, что главное было в них продуктивным. Сегодня же резерва времени нет. Чтобы спастись, необходимо уже одновременно и разрушать и монтировать новое. Сознательных (осознанных наперед) прецедентов такого рода и такого масштаба изменений история не имеет. Поэтому невозможно с уверенностью говорить об исходе драмы.

Выше мы говорили о том, что у неминуемости распада социалистической Системы есть одна необходимая и достаточная (среди множества прочих) причина.

Прежде чем кратко ее сформулировать, подчеркну: для свободного общества, для демократии, политической и хозяйственной, свойства людей имеют решающее значение. Когда человек свободен решать и выбирать, главное начинает зависеть от разумности и нравственности его выбора. Однако есть все-таки обстоятельства, когда самым разумным и нравственным действием является устранение самих этих обсто-

ятельств. И одно только самосовершенствование людей радикально изменить таких обстоятельств не может. К числу такого рода непоправимых ситуаций относится социализм как принцип государственного и хозяйственного устройства. Сделать его «хорошим» нельзя.

Почему?

Потому что системы, сравнимые по сложности и непрерывной изменчивости с биологическим организмом, обществом и биоценозом, заключают в себе в любой момент их бытия бесконечный объем непрерывно меняющейся информации. Все попытки сломать внутреннюю саморегуляцию таких систем и заменить ее комплексом команд и правил, предписанных некоей стоящей над ними инстанцией, приводят к дефициту управляемости, к накоплению ошибок и поломок, в конечном счете — к непоправимой аварии и распаду Системы. Это не единственная, но достаточная причина порочности и обреченности социалистической утопии. Тем не менее последняя тысячами прельщает человечество, ибо отвечает его мечтам и иллюзиям.

Предупредить такой ход событий, не отменив своевременно принципа управления, противобестественного для систем этого класса, н е л ь з я.

Не будем углубляться в эти проблемы, но подчеркнем еще раз, что данное «н е л ь з я» не менее объективно, чем закон сохранения энергии.

Добавим, что тотально централизованные системы не дают законно развиваться внутри себя ничему способному их сменить и тем самым перерубают дерево поступательной эволюции. После их развала или одоления все е с т е с т в е н н ы е, работоспособные институты и отношения надо строить искусственно — процесс, повторим, беспрецедентный. Но беспрецедентность не есть невозможность.

В четырехэлементной формуле успеха: «хотеть — знать — мочь — успевать» — обращение в нуль любого из элементов превращает в нуль конечный эффект. Круг Ельцина, как мне представляется, обладал первым условием; в самых общих чертах (не полностью) — вторым, но не исключено, что упустил четвертое, а потому утратил и третье. Почему упустил (если упустил)? Думаю, что причины этого носят скорее объективный, чем субъективный характер. Слишком тяжелое наследство и слишком мало реальной власти он получил. Говоря «круг», я имею в виду и самого Ельцина. Очень хотелось бы верить, что возможность овладеть ситуацией реформаторами еще не упущена.

Ко всем системным порокам социализма добавляется еще и распад империи. Солженицын советовал свести этот трагический процесс к цивилизованно управляемому преобразованию отношений. Повторим: Горбачев реагировал на его размышления тем, что назвал Солженицына «монархистом»; другие объявили его «великодержавным шовинистом», а третьи — изменником «русской идеи». Распад пошел самотеком, с кровопролитием, пока для России — окраинным. Но ведь СССР был хозяйственно унитарен, и хаотические разрывы экономических связей тоже не прибавляют благополучия и надежды.

Добавим, что той революции, Февральской, ненужной и роковой, никто, от царя до городского, не сопротивлялся. А этой (возвращению граждан бывшего СССР к нормальной жизни) бездумно, губительно, а в последнем счете и самоубийственно противостоит, помимо свертых обстоятельств, еще и многомиллионная человеческая субстанция Системы. Но тогда россиян соблазнил мираж, тогда ими овладела Утопия. А теперь оглушенных нежданной свободой вольноотпущенников Утопии-Оборотня зовет, и манит, и пытается наполнить собой живая Жизнь. И в этом — надежда.

Потенциально в повествовании Солженицына (в этом загадочном жанровом сплаве много потенциальных пространств) присутствует еще одно современное измерение: судьба, условно говоря, Запада. Солженицын затронут его судьбой издавна и обеспокоен ею глубже, активнее, чем очень многие демонстративные западники, особенно из тех, кто выплясывал вокруг Солженицына все годы его изгнания зловещий танец по весьма четкому рисунку.

Ленин — Швейцария; Ленин — Германия; Россия — Германия; Россия — Антанта; западные финансисты — Российская империя — Временное правительство; Романовы — Гогенцоллерны — царствующая в Англии Ганноверская династия; немецкое золото — большевики — все это и многое другое наличествует в повествовании и дает начало все новым и новым животрепещущим сопоставлениям. Вдумчивые читатели уловят угрожающую протянутость западной проблематики повествования в будущее, то есть в наши дни.

Солженицын не любит исторической травестики, маскировки современных явлений псевдоархаическим реквизитом и антуражем. Использование прошлого для более безопасного или более впечатляющего изображения настоящего ему антипатично. Те ассоциации между настоящим и прошлым (или наоборот), которые возникают в

нашем сознании при чтении «Красного Колеса», обусловлены не переодеванием сегодняшних персонажей в старинные костюмы, а сущностной, глубинной протяженностью во времени, в Истории, в духе поставленных перед нами вопросов.

В нынешний и завтрашний день Запада нас уводят не только западноевропейские и североамериканские компоненты повествования. Сугубо, казалось бы, российская его проблематика тоже во многом предваряет нынешнюю западную злобу дня. А сквозь нее проглядывает и день грядущий. Российское прошлое ухмыляется сквозь западное настоящее, где — в предкатастрофической, а где — и в катастрофической фазе.

Тогда, в России, пренебрежение «мещанской моралью» и «обывательским здравым смыслом» характерно было для эстетической и революционерствующей богемы и во все большей мере — для всего образованного слоя. Теперь, в свободном мире, растущая терпимость к аморализму все более явно превращается в культ аморализма, в легитимизацию всяческой извращенности. Эстетизация, возведение в принцип всех форм безбытности, безнравственности, вплоть до жесточайшего насилия и садизма, в данном случае проистекают из дорогого западному либерализму культа личной свободы. Эскалация аморализма, полная релятивность нравственных установок свойственны многим цивилизациям времен их упадка и предпогибели. «Кого Бог хочет покарать, того он лишает разума». Но еще прежде, по-видимому, размываются ориентиры нравственные. А может быть, это одно и то же?

Преклонение перед неограниченной индивидуальной свободой и требование всяческой компенсации для дискриминированных меньшинств переходят на современном Западе в юридически освященный приоритет любого рода нравственной неполноценности над нормой. Как знаки дискриминированности и одновременно — как право на приз, на льготу начинают восприниматься плохое воспитание, необразованность, всяческие аномалии в поведении. Возникают заведомые преимущества преступника перед жертвой. Зачатки всего этого мы с ужасом видим в «Марте...» — «Апреле...». «Слабый» (на самом деле — сильный несвязанностью никакими правилами и нормами, кроме законов своей шайки) заведомо получает фору перед «сильным» (преуспевшим, талантливым, морально устойчивым). Поощряют худшего — уже по одной той причине, что он не заслуживает успеха. Ущербного не спасают посредством психической реабилитации, образования, обучения, воспитания, а именно — поощряют — такого, каков он есть. Быть ущербным, неполноценным, аморальным становится выгодно. Ответственность за асоциальность при любых обстоятельствах снимается с человека и возлагается на социум. Общество обязывается возместить своей «жертве» незаслуженным воздаянием не ущерб, которого никто не нанес, а ущербность. Между тем «жертва» или ее семья не были на эту ущербность обречены: они ее выбрали. Лечение, воспитание, обучение, настоятельные предложения войти, трудясь, в общую колею все чаще воспринимаются люмпенами всех мастей и этиологий и их защитниками как социальное насилие. Бессемейное материнство, безответственное отцовство перестают рассматриваться как аномалии и становятся льготой.

Как совокупный «потерпевший» начинает восприниматься Западом и весь «третий мир». Сегодня к этому проникающему во все поры «архипелага Запад» и нависающему над ним «третьему миру», к нашествию агрессивных и требовательных иждивенцев присоединяется рушащийся, отравленный, молниеносно нищающий «второй мир» — мир терпящего крах социализма. И все чаще затопляемый своими подопечными Запад начинает реагировать вспышками неонацизма, пока еще — улично-хулиганского. Все эти (и многие другие) опасности выросли и развились из вполне обоснованного чувства колониальной вины белого человека перед туземцами и социальной вины обеспеченных классов XIX — XX веков перед неимущими. Справедливости ради отметим, что чувство вины российского «кающегося дворянина» и образованного разночинца перед младшим страдающим братом было очень обострено и помогло раздуть искры западных эгалитарных учений во всепожирающее революционное пламя. Что ж, все наши недостатки суть продолжение наших достоинств. Сострадание и осознание своих грехов — неотъемлемые атрибуты Совести. Но превращать их в орудия самоубийства, с одной стороны, и в инструмент шантажа, с другой, — преступно. В повествовании Солженицына воссоздана определенная историческая фаза этого превращения. Сегодня оно становится для свободного мира как бы не фатальным, как стало когда-то таковым для России. Муки совести, продолжаясь до абсурда, превратились в собственную противоположность — в капитуляцию совестливых перед бессовестными.

Подчеркнем также общую убежденность западных и российских рационалистов и материалистов, что человеческому уму и воле все доступно и все посильно. Общность для Запада и для российской радикальной интеллигенции этой гордыни

тоже не позволяет рассматривать российскую драму вне контекста европейской истории.

В «Марте...» и «Апреле Семнадцатого» показано: если либералы, прогрессисты и умеренные социалисты действительно исповедуют культ терпящих бедствие, то радикалы-революционеры эксплуатируют этот культ в качестве главной опоры переворотного рычага. Именно в опоре на эту фетишизацию, опасную, как все сотворения кумиров, социал-экстремисты раскачали до урагана терпеливый, но страшный при такой раскачке «младенческий» «до-политический» народ. Ныне на Западе левый либерализм в роковом флирте с маргинальными левоэкстремистами подготавливает Февраль — Октябрь у себя дома и вокруг немногих уже своих островов. Ему в ответ резонирует раскаленная лава «малых сих», соблазняемых бреднями о вседозволенности, о преимущественном праве обойденных и обнесенных, о ответственности всех тех, кому, по их ощущению, плохо (или даже недостаточно хорошо). Это страшный соблазн, за который рано или поздно отвечают и соблазненные и соблазнитель.

Солженицын доказательнейше говорил об этом роковом сходстве еще до изгнания. Он диагностировал его в своей возмущившей полмира Гарвардской речи, надолго закрепившей за ним репутацию обскуранта и ретрограда. В «Красном Колесе» Запад скорее всего «опасного сходства» с собственным положением не уловит: он, за исключением нескольких «могучих кучек» политиков и мыслителей, слишком беспечен. Что ж, такова типическая (в веках!) абберрация зрения современников: человек ушел далеко вперед и смотрит на всех оттуда, а им он кажется бредущим где-то там, позади, безнадежно от них отставшим.

Грандиозный труд Солженицына демонстрирует еще один парадокс, о котором не всегда помнят современники великих писателей: злободневны в высшем значении слова только произведения, ставящие вопросы вечные. Изыски ради изысков долговечны не более, чем «все эти стихи и оды, в аплодисментах ревомые ревмя...». Довлеет дневи злоба его, но истинная, сущностная злоба дня всегда проистекает из проблематики вечной. И Солженицын, как немногие художники и мыслители нашего времени, вольно и невольно ощущает и воспроизводит эту взаимосвязанность — даже в своей злободневной публицистике, не говоря уже о художественно-исследовательских его полотнах.

В его повествовании заключено знание, текущему времени необходимое, но прочесть и постичь этот цикл полотен быстро — нельзя. Еще один парадокс? Да. Обостренный еще и тем, что нельзя и медлить. Придется эту парадоксальность преодолевать. Работая над творчеством Солженицына годы, я знаю по опыту: нередко мысль его, первоначально воспринимаемая как заблуждение, ударяющая несоответствием чему-то привычному, аксиоматическому, оказывается со временем верной и намного опередившей тривиальный подход. И в этом смысле «Март Семнадцатого» и «Апрель Семнадцатого» входят в число его лучших книг.



Международный биографический центр в Кембридже присвоил ДОРЕ ШТУРМАН (Иерусалим) звание «Международная женщина года» (1991—1992). Редакция «Нового мира» поздравляет нашего постоянного автора и выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.